

Имре Кертес

Без судьбы

1

В школу я сегодня не пошел. То есть пошел, но только чтобы отпроситься. Отец написал записку с просьбой освободить меня от занятий на весь день – «по семейным обстоятельствам». Классный наставник поинтересовался, что это за семейные обстоятельства. Я сказал: отца забирают в трудовые лагеря; больше классный наставник ко мне не цеплялся.

Из школы я отправился не домой, а в нашу лавку. Отец сказал, они с мачехой будут ждать меня там. И добавил, чтобы я поторопился: вдруг буду нужен зачем-нибудь. Собственно, он меня и от школы поэтому освободил. Или, может, для того, чтобы я «был рядом в последний день, когда он расстается с домом», – это он, правда, говорил раньше, еще утром, помню, когда звонил по телефону матери. Дело в том, что нынче – четверг, а по четвергам и по воскресеньям я полдня, после обеда, должен проводить у нее. Но отец решительно сказал ей: «Дюрку сегодня я не могу к тебе отпустить», – тогда он и произнес те слова. А может, и не тогда. Утром я ходил немного сонный, из-за воздушной тревоги, которая была ночью, и, не исключено, что-то путаю. Но в том, что он говорил это, я уверен. Если не матери, значит, кому-то другому.

Отец и мне трубку дал ненадолго; но что я сказал матери, не помню. Думаю, она даже обиделась на меня, потому что я не очень-то был с ней разговорчив

– из-за того, что отец стоял рядом: в конце концов, сегодня мне ведь надо стараться ему угодить. Когда я уходил, мачеха тоже решила сказать мне несколько слов, в прихожей, без свидетелей. Она, видите ли, надеется, что в этот день, такой печальный для всех нас, «я буду вести себя надлежащим образом». Я не знал, что на это ответить, и промолчал. Но, кажется, мое молчание она восприняла как-то не так – и стала толковать что-то в том роде, что она вовсе не сыновние мои чувства имеет в виду, сказав про поведение: тут, она знает, советы излишни. Она ни капли не сомневается, что такой взрослый мальчик – все-таки мне как-никак пятнадцатый год – сам способен понять, какой тяжелый удар нас постиг, – так она выразилась. Я кивнул. И увидел, что ей этого вполне достаточно. Руки ее потянулись было ко мне, и я уже испугался, что она собирается меня обнять. Но она не закончила движение, лишь глубоко-глубоко вздохнула, продолжительно, с дрожью. Я заметил, что глаза у нее слегка блестят от влаги. Мне стало неприятно. Потом я ушел.

От школы до лавки я добирался пешком. Утро было солнечное, совсем теплое для начала весны. Мне хотелось расстегнуть курт-

ку, но я подумал: все-таки ветерок дует, хоть и несильный, еще откинет на сторону полу – и желтой звезды не станет видно, а это не по правилам. Нынче в некоторых вещах надо быть осмотрительным. Наш дровяной склад находится недалеко от дома, в переулке. Крутая лестница ведет вниз, в полумрак. Отца с мачехой я нашел в конторке – тесной клетушке с застекленной стеной, у подножья лестницы, с освещением, будто в аквариуме. С ними был господин Шютё; его я знаю еще с того времени, как он служил у нас счетоводом и занимался делами второго нашего склада, что под открытым небом; недавно тот склад он у нас купил. Так, по крайней мере, мы всем говорим. Дело в том, что у господина Шютё с чистотой крови все в порядке, желтую звезду ему носить не надо, и, как я понимаю, эта «покупка» – всего лишь коммерческая хитрость: теперь он отвечает за часть нашего состояния, ну а у нас пока сохраняется хотя бы доля доходов.

Правда, сейчас здороваюсь я с ним все же не совсем так, как раньше: ведь что там ни говори, а в каком-то смысле он теперь выше нас; отец с мачехой тоже стали с ним обходительнее. Он же упорно называет отца «хозяин», а мачеху – «милостивая сударыня», словно ничего не произошло, и не упускает случая поцеловать ей ручку. Со мной он тоже разговаривает в прежнем, шутовском тоне. Мою желтую звезду он вообще вроде не замечает. Я встал у двери и зажмурился на минутку: в глазах еще плавали круги от яркого солнечного света; взрослые продолжали прерванный моим приходом разговор. Кажется, они обсуждали что-то важное. Сначала я вообще не понимал, о чем идет речь. Отец, кажется, убеждал в чем-то господина Шютё; как раз когда я открыл глаза, тот ему отвечал. На смуглом, круглом лице бывшего нашего счетовода, с тонкими усиками и широкой щелью между двумя передними зубами, бегали желтовато-красные, словно созревшие чирьи, солнечные зайчики. Следующую фразу снова произнес отец: речь шла о каком-то «товаре»: лучше всего, если господин Шютё «сразу заберет его с собой». У господина Шютё возражений в общем не было, и тогда отец достал из ящика стола плоский бумажный сверточек, аккуратно перевязанный шнурком. Тут только я догадался, о каком «товаре» идет речь: в бумагу завернута была шкатулка, в которой лежали наши драгоценности и все такое. Думаю, «товаром» они это называли из-за меня, чтобы я не догадался. Господин Шютё тут же положил сверток себе в портфель. Но потом у них произошел небольшой спор: господин Шютё вынул было свою авторучку, чтобы написать «расписку» – в том, что он взял «товар» на хранение. Он долго на этом настаивал, а отец только отмахивался, мол, «не валяйте дурака», полно, «мы же свои люди». Как я заметил, господину

Шютё слышать это было очень приятно. Он даже сказал: «Я знаю, хозяин, вы мне доверяете, но в практической жизни для всего есть свой порядок, все должно идти как заведено». Он даже к мачехе моей обратился за поддержкой: «Не так ли, милостивая сударыня?» Но та лишь улыбнулась устало и ответила ему, ах, мол, такие вопросы пускай мужчины решают сами.

Мне это стало уже немного надоедать, когда счетовод наконец убрал свою авторучку; но потом они принялись во всех подробностях обсуждать, как быть с этим складом, куда девать сложенное тут огромное количество теса. Я услышал, как отец сказал, что, мол, стоит поторопиться, а то власти спохватятся «и, не успеешь моргнуть, приберут процветающее дело к рукам», – и попросил господина Шютё помогать в этих вопросах мачехе, у которой нет ни его опыта, ни его профессиональной сметки. Господин Шютё тут же повернулся к мачехе и торжественно заявил: «Это само собой разумеется, милостивая сударыня. Да мы и так постоянно будем с вами в контакте, по всяким там отчетам». Наверно, он имел в виду тот склад, который уже в общем-то принадлежал ему. Уж не знаю, сколько прошло времени; наконец он стал прощаться и, сделав грустное лицо, долго тряс отцу руку. И при этом многословно объяснял, что «в такой момент долгие речи вовсе даже не к месту», а потому лично он хочет сказать лишь одно слово, а именно: «До скорого свидания, хозяин». – «Надеюсь, так и будет, господин Шютё», – ответил ему, криво улыбнувшись, отец. Тут мачеха открыла свою сумочку, вытащила носовой платок и поднесла его к глазам. В горле у нее что-то забулькало. Стало тихо; ситуация была очень неловкой: у меня появилось такое чувство, что я тоже должен сейчас что-то сделать. Но все случилось как-то очень уж неожиданно, и ничего умного мне в голову не пришло. Я видел, господин Шютё тоже чувствует себя не в своей тарелке. «Ну что вы, милостивая сударыня, – сказал он, – не надо так. Честное слово, не надо». Казалось, он немного испуган. Он наклонился и быстро приложился губами к руке мачехи, чтобы произвести обычный свой поцелуй. И сразу, едва разогнувшись, устремился к двери; я еле успел отскочить в сторону. Со мной господин Шютё попрощаться забыл. Когда он вышел, мы некоторое время молчали, слушая его тяжелые шаги по деревянным ступенькам лестницы.

«Ну вот, одной заботой меньше», – первым нарушил тишину отец. На что мачеха, еще немного плаксивым голосом, спросила: может, надо было бы все-таки взять у господина Шютё расписку? Но отец ответил, что такая бумажка никакой «практической ценности» не имеет: наоборот, хранить ее было бы даже рискованнее, чем саму шкатулку. И стал объяснять мачехе, что теперь нам

нужно поставить все на одну карту, то есть полностью довериться господину Шютё, – хотя бы по той причине, что другого выхода у нас все равно нет. Мачеха замолчала, но потом возразила, что отец, конечно, прав, но ей все равно было бы как-то спокойнее, если бы «в руках у нее была такая расписка». Но объяснить более или менее убедительно почему, ей так и не удалось. Тогда отец напомнил, что пора заняться делами, которые еще ждут их, поскольку, как он выразился, время на месте не стоит. Он собирался передать мачехе всякую деловую документацию, чтобы та без него могла в ней разобраться и чтобы торговля, пока он будет в трудовых лагерях, не захирела. Тут он обратил внимание на меня – и задал мне несколько беглых вопросов: легко ли меня отпустили с уроков, еще что-то. Потом он сказал, чтобы я сел где-нибудь и вел себя тихо, пока они с мачехой будут разбираться с бухгалтерскими книгами.

Вот только продолжалось это долго. Какое-то время я, стараясь набраться терпения, заставлял себя думать об отце, вернее, о том, что завтра он уедет и я, скорее всего, долго его не увижу. Но потом я устал от этих мыслей и тогда, раз уж все равно помочь отцу ничем не мог, стал жутко скучать. Сидеть на месте мне тоже в конце концов надоело; чтобы хоть как-то скрасить унылое ожидание, я встал и попил воды из крана. Они ничего не сказали. Спустя какое-то время я опять поднялся и пошел за штабеля досок, справить малую нужду. Вернувшись, ополоснул руки над ржавой раковиной, обложенной кафелем, вытащил из школьного ранца пакет с завтраком, съел бутерброды, снова попил из крана. Они опять ничего не сказали. Я сел на свое место – и еще долго, долго мучился от невыносимой скуки.

Был уже полдень, когда мы наконец вышли на улицу. У меня снова замелькали перед глазами цветные круги – теперь из-за яркого света. Отец долго возился с двумя висячими замками, тщательно запирая их; у меня было такое чувство, что он намеренно тянет время. Потом он отдал ключи мачехе, поскольку ему они больше ни к чему. Я слышал, он это сам сказал. Мачеха открыла сумку; я испугался, что она опять достанет платок; но она только ключи туда положила. Они заторопились прочь, я – за ними. Сначала я думал, мы идем домой, но оказалось, что за покупками. У мачехи был длинный список всяких вещей, которые понадобятся отцу в трудовом лагере. Часть из них она приготовила еще вчера, остальное надо было купить. Когда мы шли по улице, все трое – с желтой звездой, я чувствовал себя немного неловко. Будь я один, меня бы это лишь забавляло. С ними же вместе – я просто глаза не мог поднять. Почему – трудно объяснить. Однако спустя какое-то время я об этом забыл. В лавках

всюду было много народа – за исключением той, куда мы пришли за вещевым мешком: тут мы вообще оказались одни. Воздух в ней был густо пропитан острым запахом новой клеенки. Старик хозяин, тощий, желтый, но со сверкающими вставными зубами и с нарукавником на правом локте, и его толстуха жена держались с нами очень любезно. Они тут же вывалили на прилавок целую грудку всякой всячины. Я заметил, что хозяин зовет жену «детка» и посылает ее то туда, то сюда. Лавку эту я вообще-то и раньше знал: она находится недалеко от нашего дома; но бывать в ней мне еще не доводилось. Это что-то вроде магазина спортивных товаров, хотя продают тут и много всего другого; в последнее время – даже желтую звезду собственного изготовления: желтая ткань сейчас – в большом дефиците. (О наших звездах мачеха позаботилась вовремя.) Если я правильно разобрался, они придумали обтягивать тканью картонную форму: так, конечно же, получается куда красивей, все шесть лучей выглядят ровными, одинаковыми, не торчат вкривь и вкось, как на иных домашних поделках. Еще я заметил, что у хозяев и у самих на груди красуется их собственная продукция. Можно было подумать, желтую звезду они носят только затем, чтобы сделать ей рекламу у покупателей.

Но тут как раз и хозяйка вернулась с товаром. Старик еще до этого у нас спросил: позволено ли ему будет поинтересоваться, не для трудовых ли лагерей мы делаем покупки? Мачеха ответила: да, для них. Хозяин удрученно покивал. И даже воздел к потолку свои морщинистые, в пигментных пятнах руки, а потом скорбно уронил их на прилавок. Тогда мачеха сказала, что нам нужен вещевой мешок, и спросила, найдется ли таковой в лавке. Старик поколебался, затем произнес: «Для вас – найдется». И обернулся к жене: «Детка, принеси – ка со склада вещмешок для господина». Мешок нам сразу понравился. Но хозяин послал жену еще за несколькими предметами, без которых, как он считал, отцу «там, где он будет, не обойтись». Он вообще говорил с нами очень тактично и сочувственно, по возможности избегая слов «трудовые лагеря». Вещи, которые он нам показывал, в самом деле сплошь были полезные и практичные: котелок с герметически закрывающейся крышкой, складной перочинный ножик с множеством всяких инструментов, полевая сумка, еще что-то в таком же роде, что, как он вскользь заметил, у него всегда спрашивают «в подобных обстоятельствах». Мачеха купила для отца перочинный нож. Мне он тоже понравился. Когда все, что нужно, было отобрано, хозяин скомандовал жене: «Посчитай!» Старуха с трудом втиснула в кресло перед кассовым аппаратом свое грузное мягкое тело в черном платье. Хозяин проводил нас до дверей.

Там, прощаясь, он сказал: «Почту за честь снова увидеть вас», – а потом, доверительно наклонившись к отцу, добавил вполголоса: «Вы же меня понимаете: чтобы вы и я были живы и здоровы».

Теперь наконец мы в самом деле направились домой. Живем мы в большом доходном доме, недалеко от площади, где проходит трамвайная линия. Мы уже поднялись на второй этаж, когда мачеха вспомнила: а хлеб-то забыли купить! Она достала карточки, и мне пришлось бежать в булочную. Перед входом была небольшая очередь. Отстояв ее, я попал сначала к белокурой, полногрудой жене булочника: она отстригла нужные квадратики, – и потом передвинулся к самому булочнику, нарезающему хлеб. На приветствие мое он не ответил: все в окрестностях знали, что евреев он терпеть не может. Потому он и хлеб мне швырнул, взвесив его кое-как; по-моему, там граммов на двадцать—тридцать было меньше, чем положено. Недаром говорили, что у него от пайков всегда остается много излишков. И я, заметив его злобный взгляд и быстрое движение, каким он сбросил с весов порцию хлеба, в тот момент как-то вдруг понял, что его нелюбовь к евреям справедлива и объяснима: ведь относись он к ним как к обычным людям, его, наверно, грызла бы совесть, что он их обвешивает. А тут он поступает в согласии со своими убеждениями, действия его управляются какой-никакой, а идеей, хотя действия эти – как я не без горечи подумал – могли бы быть и совсем другими, куда более для меня приятными.

Домой из булочной я почти бегом бежал: ужасно есть хотелось; и потому только на одну минутку остановился, встретив на лестнице Аннамарию, которая как раз вприпрыжку спускалась по ступенькам. Она живет с нами на одном этаже, у Штейнеров, а с ними мы обычно встречаемся (в последнее время – каждый вечер) у Флейшманов. Раньше мы с соседями не очень-то замечали друг друга, но теперь оказалось, что все мы – товарищи по несчастью, так что сам Бог велел посидеть вечером, обменяться соображениями, слухами, обсудить, что будет дальше. Мы-то с Аннамарией разговариваем и на всякие другие темы; так я узнал, что Штейнер, собственно, дядя ей: дело в том, что ее родители как раз разводятся, а поскольку насчет дочери договориться еще не смогли, то и решили: пусть пока здесь побудет, чтобы ни у того, ни у другого. До этого она жила в интернате, по той же самой причине, по какой, не так давно, был в интернате и я. Лет ей тоже примерно четырнадцать. У нее длинная стройная шея. Под желтой звездой начинает формироваться грудь. Сейчас ее тоже послали в булочную. Еще она спросила: не хочу ли я, где-нибудь ближе к вечеру, поиграть в карты вчетвером, с ней и еще с двумя девочками, они сестры и живут этажом выше. Аннамария с ними дружит, а я их

разве что в лицо знаю: встречались на лестнице да в бомбоубежище. Младшей из сестер на вид лет одиннадцать-двенадцать. Старшая же, как сказала Аннамария, ее ровесница. Иногда, сидя в комнате у окна, что выходит во двор, я вижу, как она бежит по галерее напротив, спешит домой или из дому. Пару раз мы сталкивались и в подъезде. Я подумал: за картами мы могли бы поближе с ней познакомиться: что до меня, я бы с удовольствием. Но тут я вспомнил про отца – и сказал Аннамарии: сегодня ничего не выйдет, сегодня мы с отцом прощаемся, его в трудовые лагеря забирают. Тогда и она вспомнила: да, она дома тоже об этом слышала, дядя рассказывал. И сказала: «Ну тогда что ж, ладно». Мы немного помолчали. Потом она спросила: «А завтра?» Я сказал: «Давай лучше завтра». Но и тут сразу добавил: «Если получится».

Когда я пришел домой, отец и мачеха уже сидели за столом. Мачеха, доставая для меня приборы, спросила, не проголодался ли я. «Как волк», – ни о чем другом не думая, сказал я; потому что так оно и было на самом деле. Она поставила передо мной полную тарелку, себе же едва плеснула чего-то. Но не я, а отец это заметил – и спросил ее: что-нибудь случилось? Она ответила

– мол, сейчас у нее желудок не способен никакую пищу воспринимать; тут я и обнаружил свой промах. Правда, отец ее поведение не одобрил. Он стал говорить, что сейчас, когда ей так нужны силы и выдержка, поддаваться настроению ни в коем случае нельзя. Мачеха не ответила, зато я услышал какие-то непонятные звуки, а когда поднял глаза, увидел, что она плачет. Мне опять стало не по себе; я опустил взгляд в тарелку, но все же уловил краем глаза какое-то движение: это отец взял ее за руку. Прошла минута; было совсем тихо; когда я осторожно посмотрел на них, они сидели, держась за руки и глядя друг на друга, как это делают, скажем, мужчины и женщины в фильмах. Мне такое никогда не нравилось, я и сейчас почувствовал себя неловко. Хотя, собственно, думаю, ничего тут особенного нет, вполне обычное дело. Только я все равно не люблю. Сам не знаю почему. В общем, когда они снова стали разговаривать, я с облегчением перевел дух. Они опять вспомнили господина Шютё, правда, ненадолго, только в связи со шкатулкой и со вторым нашим складом; отец еще раз успокоил мачеху: по крайней мере, эти две вещи «теперь, он уверен, находятся в хороших руках». Мачеха опять согласилась с ним, хотя вскользь снова вспомнила про «гарантии», в том смысле, что да, конечно, конечно, но ведь вся их уверенность ни на чем, кроме честного слова, не зиждется, и большой вопрос еще, достаточно ли честного слова в таких делах. Отец пожал плечами и ответил, что сейчас не только в коммерции, но и «в других

областях жизни» никто ни о каких гарантиях не помышляет. Мачеха издала прерывистый вздох и тут же согласилась с отцом; она уже сожалеет, что затронула эту тему, – и попросила отца не говорить так и вообще ни о чем не думать. Но отец ее не послушался и стал вслух размышлять о том, как она, мачеха, будет справляться с заботами, которые теперь, в эти тяжелые времена, свалятся на нее, и как она разберется во всем этом одна, без него. Но мачеха ответила, дескать, почему же одна: ведь рядом всегда буду я. Мы с Дюр-кой, продолжала она, будем помогать друг другу и заботиться друг о друге, пока отец не вернется и не будет опять с нами. Она даже повернулась ко мне и, чуть склонив голову к плечу, спросила: ведь так? Она улыбалась, но губы у нее дрожали. Я сказал: конечно. Отец тоже посмотрел на меня, взгляд у него был мягкий, растроганный. Меня это как-то сильно задело, и, чтобы сделать для отца что-нибудь, я взял и отодвинул свою тарелку. Отец, заметив это, спросил, что со мной. Я сказал: «Аппетита нет». Я видел, мои слова приятны ему; он даже погладил меня по голове. От этого прикосновения у меня тоже, впервые за сегодняшний день, что-то сдавило горло: нет, не слезы, а что-то вроде тошноты. Мне хотелось, чтобы отца уже не было тут. Это было очень скверное ощущение, но я чувствовал его так отчетливо, что ни о чем больше не мог думать, и совсем растерялся в эту минуту. Еще немного, и я готов был бы даже заплакать, но не успел: пришли гости.

Мачеха заранее нас предупредила, что они придут; будут только самые близкие, сказала она. А когда отец было недовольно нахмурился, поспешила добавить: «Но они только проститься с тобой хотят. Их же можно понять!» И вот в прихожей раздался звонок: пришли старшая мачехина сестра и мамаша. Вскоре прибыли отцовы родители: бабушка с бабушкой. Бабушку поскорее усадили на канапе: с ней вечно беда, она в своих очках с толстыми, как увеличительные стекла, линзами почти ничего не видит; примерно так же дело обстоит и со слухом. Но это не мешает ей деятельно участвовать во всем, что вокруг происходит. Так что хлопот с ней всегда по горло: во-первых, приходится постоянно орать ей в ухо, а во-вторых, прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы не дать ей вмешаться, иначе потом последствий не расхлебашь.

Мачехина мамаша явилась в лихо заломленной шляпке конусом, с полями; спереди на шляпке торчало, склоненное набок, перо. Вскоре, однако, шляпку она сняла, и показались красивые, хотя и редковатые, белоснежные волосы, собранные на затылке в маленький, как орех, узелок. Лицо у нее узкое, желтоватое, глаза темные и большие, на шее под подбородком свисают две вялые

складки кожи; она похожа на какую-то очень умную и очень породистую охотничью собаку. Голова у нее постоянно чуть заметно трясется. На ее долю выпала задача упаковать вещевой мешок отца: в таких делах она признанная мастерица. Она тут же принялась укладывать вещи, по списку, который дала ей мачеха.

А вот мачехиной сестре мы никакого применения найти не смогли. Она намного старше мачехи, и вообще словно бы совсем и не сестра ей: маленькая, толстенная, личико – словно у удивленной куклы. Она беспрерывно что-то верещала, иногда принималась плакать и еще всех по очереди обнимала. В том числе и меня; мне еле удалось вырваться из ее мягких, пахнущих пудрой объятий. Когда наконец она села, вся масса рыхлой плоти легла на ее коротенькие ляжки. Да, и чтобы про отца не забыть сказать: он так и остался стоять возле канапе, где сидела бабушка, и терпеливо, с невозмутимым лицом выслушивал ее жалобы. Сначала она тоже плакала, жалея отца, но собственные несчастья постепенно заставили ее забыть про него. Она жаловалась, что у нее все время болит голова, что в ушах стоит пульсирующий шум – от давления. Дедушка, ко всему этому давно привыкший, помалкивал. Зато не отходил от бабушки ни на минуту, так и просидел рядом с ней до конца. За весь вечер я не услышал от него ни слова; но каждый раз, когда взгляд мой падал в ту сторону, я видел его все в том же углу, который, по мере того как надвигался вечер, погружался в темноту; вот уже света, рассеянного, желтоватого, хватало лишь на его голый, с большими залысинами лоб да на горбинку носа, глазницы же и нижняя часть лица тонули в густой тени. И только живой блеск глаз выдавал, что из своего угла, незаметный, он наблюдает за всем, что происходит в комнате.

Я уже думал, что никого больше не будет; но тут пришла еще двоюродная мачехина сестра с мужем. Я зову его дядя Вили: это его имя. У него что-то не то с ногами, и один ботинок он носит с более толстой подошвой, чем другой; зато благодаря этому его не забирают в трудовые лагеря. Голова у него – в форме груши: сверху широкая, выпуклая и лысая, в щеках же – чем ниже к подбородку, тем уже. В семье к его мнению прислушиваются, потому что, до того как открыть букмекерскую контору, он занимался журналистикой. Вот и сейчас он пожелал сразу же поделиться интересными сведениями, которые узнал из «конфиденциального источника» и считал «абсолютно достоверными». Он уселся в кресло, увечную ногу вытянул вперед, ладони с сухим шорохом потер друг о друга и сообщил нам: «скоро в нашем положении ожидается коренной поворот», поскольку насчет нас начались «тайные переговоры», которые идут «между немцами и

державами коалиции, при нейтральном посредничестве». Дело в том, что немцы, объяснил нам дядя Вили, «теперь уже и сами видят, что положение их безнадежно на всех фронтах». И тут дядя Вили высказал мнение, что мы, «евреи Будапешта», оказались немцам очень даже «кстати» в их стремлении «за наш счет выторговать у коалиции определенные выгоды для себя», а уж коалиция-то ради нас пойдет, конечно, на любые уступки; здесь он упомянул один, на его взгляд, «очень важный фактор», который известен ему еще из журналистского опыта: этот фактор он назвал – «мировое общественное мнение», и сказал, что оно было «потрясено» тем, что у нас происходит. Торг, конечно, идет жесткий, продолжал дядя Вили, и как раз в этом находит объяснение нынешняя суровость предпринятых против нас мер; но что делать, это естественное следствие «большой игры, в которой мы, собственно говоря, представляем собой всего-навсего средство невероятного по своим масштабам международного шантажа»; однако дядя Вили пояснил, что он, прекрасно зная, что в это время «происходит за кулисами», рассматривает все это прежде всего «как эффектный блеф», ради того, чтобы повыше поднять цену, и потому просит нас лишь набраться терпения, пока «события приведут к какому-нибудь результату». Тогда отец спросил его, можно ли ожидать этого результата к завтрашнему дню и может ли он считать свою повестку тоже всего лишь блефом, и вообще, может быть, завтра ему вовсе и не стоит уезжать в трудовые лагеря. Тут дядя Вили чуть-чуть смешался. И ответил: «Ну нет, конечно, так речь не стоит». Однако добавил, что совершенно уверен: отец мой скоро опять будет дома. «Двенадцатый час скоро пробьет», – сказал он, снова потирая руки. И еще добавил: «Будь я настолько уверен в какой-нибудь из своих ставок, я бы не был таким голодранцем!» Он хотел было еще что-то сказать, но тут мачеха и ее мамаша как раз закончили упаковывать вещевой мешок, и отец встал, чтобы примерить, как он сидит на спине.

Последним явился самый старший мачехин брат, дядя Лайош. Он в нашей семье играет какую-то весьма важную роль, хотя какую точно, я вряд ли смог бы определить. Он сразу пожелал побеседовать с отцом с глазу на глаз. Мне показалось, отец отнесся к этому без всякого восторга и, пускай в очень тактичной форме, постарался как можно скорее от него отвязаться. Тогда дядя Лайош неожиданно переключился на меня. Он сказал, что хотел бы со мной «немного потолковать». И, уведя меня в дальний угол комнаты, поставил там возле шкафа, а сам сел напротив. Начал он с того, что, как мне известно, завтра мой отец «покидает нас». Я сказал, что да, мне это известно. Тогда он захотел услышать, будет ли мне его не хватать. Вопрос немного раздражал меня, но

я все же ответил: «Ну да, само собой». Это мне и самому показалось недостаточным, и я быстро добавил: «Очень». На что он долго кивал, и лицо у него было страдальческое.

Зато после этого я услышал от него кое-какие удивительные и интересные вещи. Он сказал, например, что нынешний печальный день подводит черту под тем периодом моей жизни, который он назвал «беззаботное, счастливое детство». «Уверен, – многозначительно посмотрел он на меня, – подобные мысли тебе еще и в голову не приходили». Я сознался: в самом деле не приходили. Но он опять же выразил уверенность, что в словах его нет ничего такого, до чего я не мог бы дойти собственным умом. Я снова сказал: в самом деле вроде бы нет. Тогда он сообщил мне, что с отъездом отца мачеха останется без помощи и опоры, и хотя семья «не будет терять нас из виду», однако главной опорой с этого момента буду для нее я. «Ничего не поделаешь,

– продолжал дядя Лайош, – тебе рано придется узнать, что такое заботы, что такое самоотречение». Потому что житье-бытье мое теперь будет, по всей вероятности, уже не таким безоблачным, как до сих пор, и он не хочет скрывать это от меня, поскольку говорит со мной «как со взрослым мужчиной». «Отныне, – сказал он, – ты тоже причастен к общей еврейской судьбе»; на этом он остановился подробнее, упомянув, что общая судьба эта подразумевает «непрестанные, тысячелетиями длящиеся гонения», которые, однако, евреям «надлежит принимать со смирением и бесконечным, жертвенным терпением», поскольку на испытания эти обрек их, за давние грехи, сам Господь, и потому, только уповая на Него, могут они надеяться и на милость Его; Он же ожидает от нас, чтобы и в этом тяжелом положении мы стойко вынесли все, что Он определил нам «по силам нашим и способностям». Скажем, мне, услышал я от него, должно в дальнейшем достойно показать себя в роли главы семьи. Тут он спросил: чувствую ли я в себе достаточно сил и готовности для этого? Хотя я не очень-то улавливал – особенно когда он говорил о евреях, об их грехах, об их Боге, – при чем тут, собственно, я, тем не менее слова его, не стану отрицать, как-то задели меня за живое. Так что я ответил: да, вроде чувствую. Он, как можно было судить по его лицу, остался моим ответом доволен. Вот и хорошо, сказал он. Он всегда считал, что я мальчик разумный и что в душе у меня «живут глубокие чувства и серьезное сознание ответственности», и это среди ударов судьбы в какой-то мере служит ему утешением, – так выходило из его слов. Тут он протянул ко мне руку и двумя пальцами, которые с наружной стороны покрыты были пучками волос, а с внутренней – легкой влагой, взял меня за подбородок, потом тихим, немного дрожащим голосом произнес:

«Твой отец отправляется в дальний путь. Ты молился за него?» Была в его глазах некая суровая требовательность, и, может быть, именно взгляд этот пробудил во мне тягостное ощущение, что я что-то не сделал для отца. Самому мне это до сих пор и в голову не приходило, но теперь, когда он мне об этом сказал, я уже не мог избавиться от мучительных угрызений совести – и, чтобы освободиться от тяжкого груза, ответил: «Нет, не молился». – «Пойдем со мной», – сказал он.

Мы с ним вышли в другую комнату, окнами во двор. Здесь, в окружении старой, обшарпанной мебели, мы стали молиться. Прежде всего дядя Лайош поместил себе на макушку, на то место, где его седые, редющие волосы вылезли, оставив маленький просвет, круглую, черную, с шелковистым отливом шапочку. Мне тоже пришлось принести из прихожей свою кепку. Тогда дядя Лайош достал из внутреннего кармана пиджака книжечку в черном переплете с красным обрезом, а из нагрудного кармашка – очки. И принялся читать вслух молитву, а я должен был повторять за ним кусочки текста. Сначала дело шло бойко, но скоро я стал уставать; мешало мне и то, что я ни словечка не понимал из тех фраз, с которыми мы обращались к Богу: ведь молиться Ему нужно было по-еврейски, я же еврейского языка не знаю. Чтобы как-то все-таки успевать за дядей Лайошем, я вынужден был следить за его губами, так что в конце концов все, что осталось во мне от этого странного эпизода, было лишь движение мясистых, влажных губ да лишённые всякого смысла слова чужого языка, которые я бормотал под нос. Ну и еще то, что я увидел в окно, через плечо дяди Лайоша: старшая из сестер, к которым меня приглашала Аннамария, как раз прошла по галерее напротив, этажом выше нашего, по направлению к их квартире. Кажется, тут я даже сбился немного и неправильно произнес текст. Но когда молитва закончилась, дядя Лайош выглядел удовлетворенным; на лице у него было такое выражение, что даже я на минутку почувствовал: ну вот, мы таки предприняли что-то ради отца. И в самом деле, мне стало легче, чем до молитвы, когда я не мог избавиться от того неприятного, тягостного ощущения.

Мы вернулись к гостям. На улице стемнело. Мы закрыли окна, плотно заклеенные бумагой воздушного затемнения, и тем отрезали себя от синего, влажного весеннего вечера. В комнате словно бы стало гораздо теснее. Гул голосов утомлял меня. Глаза щипало от сигаретного дыма. Я уже не мог сдерживать зевету. Мачехина мамаша накрыла на стол. Ужин она принесла с собой в большой сумке. Она даже мясо достала на черном рынке, о чем сообщила, как только пришла. Отец сразу расплатился с ней, достав деньги из кожаного бумажника. Все сидели за столом, когда вдруг яви-

лись дядя Штейнер и дядя Флейшман. Они тоже хотели попроситься с отцом. Дядя Штейнер, едва вошел, попросил всех «не обращать на них внимания». Он сказал: «Я – Штейнер. Сидите, сидите, пожалуйста». На ногах у него, как всегда, были драные шлепанцы, под расстегнутым жилетом круглился солидный живот, в зубах зажата была вечная дешевая, вонючая сигара. На большой рыжей голове странно выглядела прическа с детским пробором. Дядя Флейшман – маленький, с ухоженной внешностью, с белоснежными волосами, с сероватой кожей на постоянно встревоженном лице, с круглыми, как совиные глаза, очками, – рядом со Штейнером был едва заметен. Он лишь молча кланялся, выглядывая у того из-под мышки, да ломал пальцы, словно оправдываясь – из-за Штейнера, как можно было подумать. Но вряд ли из-за него. Старики – неразлучные друзья, хотя беспрестанно спорят друг с другом: не существует такого вопроса, в котором они были бы одного мнения. Штейнер и Флейшман по очереди подошли к отцу, пожали ему руку. Штейнер еще и по спине его похлопал, назвал «старинной» и, в который уже раз, повторил свою любимую шутку: «Так что – ниже голову, старина, и не будем терять отсутствия духа!» Еще он сказал – тут дядя Флейшман тоже энергично закивал, – что они по-прежнему будут заботиться обо мне и о «мадам» (так он называл мачеху). Потом, поморгав утонувшими в морщинах глазками, обнял отца и прижал к своему животу. Когда они ушли, все утонуло в звяканье столовых приборов, гуле голосов, запахе блюд и густом табачном дыму. Лишь иногда я более или менее четко видел чье-нибудь лицо, замечал какое-нибудь движение, которые почему-то проступали вдруг из окружающего тумана; чаще других мне в глаза бросалась желтая, костлявая, трясущаяся голова мачехиной мамыши, следившей, чтобы ни одна тарелка перед гостями не пустовала; потом взгляд мой остановился на дяде Лайоше: тот протестующим жестом воздел ладони, отказываясь от мяса, потому что это мясо свиньи, а религия запрещает употреблять в пищу свинину; еще мне запомнились пухлые щеки, жующие челюсти и слезящиеся глаза мачехиной сестры; потом в розовом круге света под люстрой появился вдруг голый череп дяди Вили, и я уловил обрывки его оптимистических речей насчет обнадеживающих перспектив; и снова дядя Лайош, который в торжественной тишине произнес слова, прося помощи Господа, чтобы «все мы в самом скором времени снова сидели за семейным столом, пребывая в мире, любви и здоровье». Отец попадал в поле моего зрения редко и смутно; мачеха же в тот вечер запомнилась мне лишь потому, что о ней все подчеркнуто, нежно заботились, едва ли не больше, чем об отце, а потом у нее вдруг заболела голова, и гости наперебой стали предлагать ей

таблетки и советовали положить на лоб влажное полотенце, но она и от того, и от другого отказалась. Однако время от времени сознанием моим завладевала бабушка: она все время путалась у кого-нибудь под ногами, и ее приходилось уводить обратно на канапе; я и сейчас слышу ее нескончаемые жалобы, вижу ее подслеповатые глаза, которые под толстыми, запотевшими линзами очков напоминали каких-то странных, влажных насекомых. Потом все разом вдруг поднялись из-за стола. Тут и началось настоящее прощание. Бабушка с дедушкой ушли отдельно, немного раньше, чем родня мачехи. И за весь этот вечер отчетливее всего запомнился мне, пожалуй, единственный дедушкин поступок, которым он обратил на себя всеобщее внимание: это случилось, когда он, уходя, маленькую свою, птичью головку на короткое мгновение, но порывисто, почти отчаянно, прижал к пиджаку отца, к его груди. Сухопарое, жилистое тело его содрогнулось, словно он с невероятным трудом подавил рыдание. И, оторвавшись от отца, он торопливо двинулся к выходу, ведя под локоть бабушку. Все расступились, давая им дорогу. Многие потом, уходя, обнимали и меня, и я еще долго чувствовал на лице клейкий след их поцелуев. Наконец стало тихо: все ушли.

Тогда попрощался с отцом и я. Или, скорее, может быть, он со мной. Даже не знаю. Не совсем ясно помню, как это произошло. Должно быть, отец вышел проводить гостей, потому что я на пару минут остался возле стола с остатками ужина в одиночестве – и встрепенулся, только когда отец опять оказался в комнате. Он был один. И хотел проститься со мной. Завтра утром на это уже не будет времени, сказал он. И стал говорить мне об ответственности, о том, что мне придется до времени повзрослеть, – примерно то же самое, что я уже слышал сегодня от дяди Лайоша, только без упоминания Бога, не такими красивыми словами и гораздо короче. Вспомнил он и про мать, высказав предположение, что она, вероятно, попытается теперь «переманить меня из дома к себе». Я видел, мысль эта очень его беспокоит. Еще бы: они с матерью долго спорили, кому я должен принадлежать, пока наконец суд не решил дело в пользу отца; а теперь, и тут я вполне его понимал, он, должно быть, не хотел лишиться – только по той причине, что оказался в невыгодной ситуации, – прав на меня, с таким трудом завоеванных. Но в этот момент он взывал не к закону, а к моему здравому смыслу, подчеркивая разницу между мачехой, которая «создала теплую, уютную семейную обстановку», и матерью, которая, наоборот, меня «бросила». Тут я стал слушать внимательнее, потому что мать об этом рассказывала мне совсем по-другому: по ее мнению, виноват во всем отец. Потому что она и вынуждена была найти себе другого мужа, некоего

дядю Дини (на самом деле его звали Денеш), которого, кстати, на прошлой неделе тоже забрали, и тоже в трудовые лагеря. Как там было на самом деле, мне так никогда и не удалось узнать: отец быстро перевел разговор снова на мачеху, напомнив: ей я обязан тем, что меня забрали из интерната, а потому мое место «дома, рядом с ней». Он еще много о ней говорил, и я догадывался уже, почему она не участвует в разговоре: наверняка ей это неловко было бы слушать. Меня же беседа опять-таки стала несколько утомлять. Уж не помню, что я обещал отцу, когда он пожелал услышать от меня обещания. А в следующую минуту я вдруг очутился в его объятиях, что показалось мне, после его слов, неожиданным и даже немного странным. Не знаю, от этого ли у меня полились слезы, или просто от того, что я ужасно устал, или, может, от того, что еще с первого, утреннего разговора с мачехой я как-то, сам того не сознавая, готовился к тому, что они обязательно должны хлынуть; как бы там ни было, все-таки хорошо, что так вышло: я чувствовал, отцу тоже приятно видеть, что я плачу. Потом он послал меня спать. Признаться, очень кстати: я еле держался на ногах. Перед тем как уснуть, я успел подумать: по крайней мере, бедняга уедет в трудовые лагеря с памятью о хорошо проведенном дне.

2

Минуло уже два месяца, как мы попрощались с отцом. Наступило лето. Но в гимназии нас давно, еще весной, распустили на каникулы. Сказали: из-за того, что война. Город часто бомбят, да и о евреях приняты новые законы. Вот уже две недели, как я должен нести трудовую повинность. Мне пришла официальная бумага с извещением, что я «получаю настоящим назначением на постоянное место работы». В бумаге ко мне обращались как к «Дёрдю Кёвешу, допризывнику, годному для несения службы на вспомогательных работах», из чего я сразу понял, что руку к этой истории приложили чины из «Левенте»*. Да я и так *В хортистской Венгрии – массовая молодежная организация, ведающая подготовкой к военной службе, а также занимающаяся идеологическим воспитанием подрастающего поколения.* (Здесь и далее примеч. переводчика.)

слышал, что ребят-евреев моего возраста, которые еще не выросли до трудовых лагерей, нынче посылают работать на заводы или в другие такие же места. В одной компании со мной оказались еще человек восемнадцать, которым тоже где-то около пятнадцати лет. Место нашей работы находится в Чепеле*, на предприятии какого-то акционерного общества, название которого – «Нефтеперегонный завод Шелл». Благодаря этому я, собственно, стал даже обладателем определенных привилегий, поскольку вообще-то с желтой звездой выезжать за границу города было запрещено. Мне, однако, выдали на руки специальное удостоверение, на котором красовалась печать оборонного предприятия и написано было: «С правом пересечения Чепельской таможенной границы».

Сама работа, честно говоря, не была уж такой невыносимо тяжелой, а если учесть хорошую компанию, так просто-таки приятной: мы состояли на подсобных работах при каменщиках. Дело в том, что завод сильно пострадал от авианалетов, и нашей задачей было участвовать в ликвидации нанесенного самолетами ущерба. Мастер относился к нам вполне нормально: в конце недели он даже *Чепель – остров на Дунае южнее Будапешта (в настоящее время – один из административных районов венгерской столицы), где расположены портовые сооружения и много промышленных предприятий.* В 20—30-е годы XX в. на Чепеле находился международный порт со статусом свободной гавани; отсюда – таможня, о которой пойдет речь ниже.

отсчитывал, как и другим подмастерьям, какое-никакое жалованье. Мачеха, правда, больше всего была рада моему удостове-

нию. До сих пор, если я куда-нибудь отправлялся из дома, она каждый раз нервничала: что я предъявлю, если придется удостоверить свою личность. Теперь ей не о чем беспокоиться: ведь у меня при себе документ, который свидетельствует, что я живу не для своего удовольствия, но занимаюсь полезным делом, работаю в оборонной промышленности, а это уже, естественно, требует совсем другого ко мне отношения. Такого же мнения была и вся наша семья. Только мачехина старшая сестра попричитала немного: ах, дескать, как же так, выходит, я должен выполнять тяжелую физическую работу? И едва ли не со слезами на глазах вопрошала: и ради этого я учился в гимназии? По-моему, отвечал я ей, для здоровья это только полезно. Дядя Вили тут же меня поддержал, а дядя Лайош завернул и того круче: если Бог определит нам стезю, следует принимать ее не ропща; тут мачехина сестра замолчала. Дядя Лайош, правда, опять отозвал меня в сторону и серьезно побеседовал со мной, среди прочего напомнив, что, работая на заводе, я представляю не только себя самого, но и «все еврейское сообщество» и что мне еще и поэтому нужно следить за своим поведением, поскольку мнение будет составлено и о них всех. В самом деле, это мне в голову не приходило. Но ничего не попишешь, я опять же, конечно, не мог не признать, что он, наверное, прав.

Письма от отца, из трудовых лагерей, тоже приходили аккуратно: слава Богу, он здоров, работу переносит хорошо, обращаются с ними – как он писал – по-человечески. Семья тоже была довольна содержанием его писем. Дядя Лайош высказал мнение, что Бог до сих пор был с отцом, и напомнил, как важно ежедневно обращаться к Нему с молитвой, чтобы Он и дальше заботился об отце, поскольку власть Его над всеми нами беспредельна. Дядя Вили же заверил: нам нужно как-нибудь еще продержаться этот, и без того «краткий, переходный период», ибо – как он обстоятельно объяснил – высадка союзнических войск на севере Франции «окончательно решила судьбу немцев».

С мачехой мне тоже пока удавалось во всех вопросах находить общий язык. В отличие от меня, она теперь была вынуждена бездельничать; дело в том, что тут как раз вышло распоряжение: те, у кого кровь недостаточно чистая, не имеют права заниматься торговлей, так что лавку нам пришлось закрыть. Но, как видно, ставка, которую отец сделал на господина Шютё, оказалась удачной: бывший наш счетовод каждую неделю аккуратно приносит мачехе долю прибыли, которая причитается ей от находящегося у него склада, – так было договорено с отцом. Вот и в последний раз он был точен и отсчитал на стол, насколько я мог судить, довольно приличную сумму. После этого поцеловал мачехе руку;

несколько дружелюбных слов нашлось у него и для меня. Подробно расспросил он – как обычно делал – и о самочувствии «хозяйина». Он уже собирался уходить, когда ему еще что-то пришло в голову. Из своего портфеля он вынул какой-то сверток. Лицо его было немного смущенным. «Смею надеяться, милостивая сударыня, – произнес он, – это вам пригодится в хозяйстве». В свертке оказался жир, сахар, еще что-то. Подозреваю, добыл он это на черном рынке: наверняка прослышал о распоряжении, по которому лицам еврейской национальности теперь предписано довольствоваться сокращенными продовольственными пайками. Мачеха пыталась было отказаться, но господин Шютё очень настаивал, и, в конце концов, не могла же она быть на него в претензии за этот знак внимания. Когда мы остались вдвоем, она и меня спросила: как я считаю, правильно она поступила, приняв подарок? Я ответил, что правильно: некрасиво, наверно, было бы обидеть господина Шютё отказом, он ведь в конце концов от чистого сердца так поступил. У нее было такое же мнение; она даже сказала, что, ей кажется, отец с ней согласился бы. А вообще, ей лучше знать, как поступать в таких случаях.

Два раза в неделю я, с приближением вечера, отправлялся навестить мать, как это было заведено до сих пор. С ней у меня забот больше. В самом деле, как отец и предсказывал, она никак не может смириться с тем, что мое место

– в доме мачехи. Она говорит, что я «принадлежу» ей, родной матери. Но ведь, как известно, суд присудил меня отцу, так что тут и говорить не о чем: решение никто не отменял. Однако мать и в прошлое воскресенье меня опять допрашивала, с кем я хочу жить, потому что, она считает, тут имеет значение только мое желание, ну и еще то, люблю ли я ее. Я сказал: конечно, люблю! Но мать объяснила: любить – это когда ты «к кому-то привязан», она же видит, что привязан я к мачехе. Я попробовал убедить ее, что она ошибается: ведь в конце концов не во мне совсем дело, а, как ей известно, такое решение принял отец. Но она на это ответила, что речь здесь идет обо мне, о моей жизни, а тут решение принимать должен я сам; и еще: люблю я кого-то или нет, «это доказывается не словами, а поступками». Уходил я от нее хмурый и озабоченный: само собой, не могу же я допустить, чтобы она в самом деле подумала, будто я ее не люблю; с другой стороны, точно так же не могу я принимать всерьез ее слова о том, что самое важное – это мое желание и что во всем, что касается моей жизни, решения принимать должен я сам. В конце концов, это ведь их спор, а если так, то мне даже как-то неловко становиться на чью-то сторону. И вообще, не могу же я предавать отца, причем сейчас, когда он находится в трудовых лагерях. И все-таки мне

было очень не по себе, когда я садился в трамвай, чтобы ехать домой: ведь конечно же я к матери тоже привязан, и, само собой, меня мучила совесть, что я и сегодня ничего не смог для нее сделать.

Наверно, эти угрызения совести были одной из причин, почему я каждый раз не очень спешил уходить от нее. В конце концов она сама мне напоминала, мол, пора, время позднее; она имела в виду, что с желтой звездой показываться на улице разрешено только до восьми вечера. Я, однако, ей объяснял, что теперь, когда у меня есть удостоверение с завода, не обязательно так уж точно выполнять все распоряжения до единого.

Правда, в трамвай я все-таки садился только на последнюю площадку последнего вагона, как предписывалось соответствующими распоряжениями. И домой приезжал как раз около восьми вечера; хотя в это время было еще совсем светло – как-никак начало лета, – некоторые окна уже были закрыты черными или синими маскировочными ставнями. Мачеха уже немного беспокоилась, но – скорее по привычке: в конце концов, у меня ведь было удостоверение. Вечера мы, как обычно, проводили у Флейшманов. Старики, Флейшман и Штейнер, по-прежнему спорили по любому поводу; но, узнав, что я начал работать, они одинаково этому обрадовались – главным образом, естественно, из-за удостоверения. Правда, порадовавшись, опять-таки нашли повод поссориться. Дело в том, что ни я, ни мачеха в Чепеле не бывали и, когда мне предстояло в первый раз туда ехать, решили спросить дорогу у стариков. Флейшман посоветовал ехать на электричке, Штейнер же настаивал на автобусе, потому что тот, как он утверждал, останавливается как раз у нефтеперегонного завода, а от электрички надо еще идти пешком; как вскоре выяснилось, он оказался прав. Но тогда мы об этом еще не знали, и дядя Флейшман очень был раздражен. «Почему вы всегда добиваетесь, чтобы ваше слово было последним?»

– брюзжал он. В конце концов две толстухи жены вынуждены были вмешаться, чтобы их помирить. Мы с Аннамарией долго над этим смеялись.

Кстати, с ней я попал в несколько необычную ситуацию. Случилось это позавчера, в ночь с пятницы на субботу, во время воздушного налета, в бомбоубежище; вернее, на одной из ведущих туда, но почти не используемых подвальных лестниц. Сначала я лишь хотел показать ей, что оттуда интереснее наблюдать, что делается снаружи. Но когда мы туда выбрались, где-то поблизости как раз ухнул разрыв, и Аннамария задрожала всем телом. Я это хорошо чувствовал, потому что в испуге она крепко ухватилась за меня: руками обвила мне шею, лицом уткнулась в плечо.

Потом я помню лишь, что губами искал ее рот. Смутное ощущение теплого, влажного, немного клейкого прикосновения осталось во мне надолго. Ну и еще осталось некоторое веселое удивление: ведь как-никак это был первый случай, когда я целовался с девушкой, причем в такой момент, когда совершенно на это не рассчитывал.

А вчера, когда мы встретились на лестничной площадке, выяснилось, что Аннамария тоже была очень удивлена. «Это бомба во всем виновата», – задумчиво сказала она. В сущности, она была права. Потом мы с ней снова целовались, и она меня научила, как сделать, чтобы поцелуй еще более запомнился: надо, чтобы язык при этом тоже играл определенную роль.

А нынче вечером мы с ней пошли в другую комнату, чтобы посмотреть рыбок в аквариуме у Флейшманов: рыбок мы с ней часто смотрели и до сих пор. В этот раз мы, конечно, пошли туда не только из-за этого. Языком мы тоже поработали. Но вскоре вернулись к взрослым: Аннамария опасалась, как бы дядя с тетей чего-нибудь не заподозрили. Потом мы с ней разговаривали о всяких пустяках, и я, между прочим, узнал кое-что интересное насчет того, что она думает обо мне. Она, например, сказала: раньше у нее и в мыслях не было, что «когда-нибудь я буду для нее гораздо больше», чем просто «хороший приятель». Когда мы с ней только познакомились, я был в ее глазах просто мальчишка, такой же, как все прочие. Позже, призналась она, что-то ее заставило присмотреться ко мне получше, и в ней проснулся ко мне даже некоторый интерес – возможно, как ей кажется, из-за того, что родители наши занимают схожее положение в обществе, и, слыша отдельные мои замечания, она сделала вывод, что о некоторых вещах мы думаем с ней одинаково; но это и все, о большем она тогда и не думала. Тут она вслух стала размышлять о том, как, однако, все в жизни странно, и заключила свои размышления словами: «Видно, так и должно было случиться». На лице у нее было какое-то необычное, почти строгое выражение; я не стал с ней спорить, хотя, кажется, скорее согласен был со сказанным ею вчера: во всем виновата бомба. Но конечно, полной уверенности у меня в этом не было; к тому же я видел ведь, что так ей нравится больше. Вскоре мы попрощались: завтра мне рано вставать на работу; когда я пожимал ей руку, она вонзила ногти мне в ладонь, причинив даже некоторую боль. Я понял: она мне на поминает о нашей тайне, и на лице у нее словно написано было: «Все в порядке».

Но на другой день она повела себя несколько странно. Вечером, после того как я вернулся с завода домой, помылся, сменил рубашку, обувь, влажной расческой привел в порядок волосы, – мы

с ней пошли в гости к сестрам, что жили выше этажом: Аннамария уже представила меня им, как и планировала. Мать их приняла нас радушно (отец находился в трудовых лагерях). Квартира у них была довольно солидная, с балконом, коврами, двумя большими комнатами и одной поменьше, для девочек. Тут стояло пианино, было много кукол и прочих девчачьих вещей. Раньше мы играли в карты; но сегодня у старшей сестры не было настроения для таких занятий. Ей хотелось прежде поговорить с нами о том, что ее мучит, о вопросе, над которым в последнее время она постоянно ломает голову: речь, как оказалось, шла о желтой звезде. Собственно, задуматься и осознать, что что-то очень сильно изменилось, заставили ее «взгляды, какими смотрят на нее люди»; да, она находит, что люди очень изменились по отношению к ней: по их глазам она чувствует, что они просто «ненавидят» ее. Вот и сегодня утром, когда мать послала ее за покупками, она это заметила. Но мне, например, кажется, она тут немного преувеличивает. Мой личный опыт, по крайней мере, не совсем совпадает с тем, что она говорит. Вот, например, и на нашем заводе среди каменщиков есть такие, о которых всем известно, что они евреев терпеть не могут, – и все-таки с нами, подростками, они подружились, без всяких преувеличений. В то же время, однако, это, конечно, взглядов их не меняет нисколько. Потом мне вспомнился еще пример с булочником, и я попробовал объяснить старшей из сестер, что на самом деле люди ненавидят не ее, в том смысле, что не ее лично – ведь в конце концов они просто не знают ее, не знают, плохая она или хорошая, – а, скорее всего, некое представление, некую идею, имя которой – «еврей». Тогда она заявила, что тоже как раз размышляла над этим, потому что, в сущности, не очень понимает, что это такое. Аннамария тут же, правда, сказала ей, что ведь каждому известно: еврей – это религия. Но старшую из сестер интересовало не это, а «смысл» идеи. «В конце концов, человек должен знать, за что его ненавидят», – широко раскрыв глаза, смотрела она на нас. И призналась: первое время она никак не могла понять, что же, собственно, происходит, но ей было очень больно чувствовать, что люди презирают ее «всего лишь за то, что она – еврейка»; тогда она впервые осознала: существует нечто, отделяющее ее от людей, она вроде как другого сорта». Она стала размышлять над этим, пыталась найти ответ в книгах, в разговорах – и пришла к выводу: вот за то, что она «другого сорта», ее и ненавидят. Она так и сказала: «Мы, евреи, не такие, как все другие», – и в этом вся суть, из-за этого люди и ненавидят евреев. Еще она говорила, какое это странное ощущение: жить, «понимая, что ты другой»; из-за этого она испытывает иногда даже гордость, но чаще – что-то вроде стыда. И ей хотелось бы знать,

как мы живем с этим ощущением: гордимся или скорее стыдимся? Сестренка ее, да и Аннамария тоже, не знали, что ей ответить. Я и сам до сих пор не очень-то видел причин ни для гордости, ни для стыда. Человек вообще ведь не совсем волен в том, чтобы решать, другой он или нет: в конце концов, для этого и придумана, как я понимаю, желтая звезда. Я ей так и сказал. Но она упрямо стояла на своем: отличие-де мы «носим в себе». А по-моему, важнее все же то, что ты носишь снаружи. Мы долго спорили, не знаю даже почему: ведь если говорить честно, мне не очень-то было ясно, почему вопрос этот так важен. Но было в ее размышлениях что-то, вызывавшее у меня раздражение: по-моему, все куда проще, чем она думает. Ну а кроме того, в этом споре мне хотелось победить, естественно. Раз или два Аннамария вроде бы тоже пыталась что-то сказать, но ничего у нее не вышло: мы со старшей из сестер так увлеклись, что на нее уже и внимания не обращали.

В конце концов я привел ей один пример. Иногда, если нечего делать, я ведь и сам задумываюсь над такими вещами: однажды мне и пришел в голову этот пример. А все благодаря одной книге, которую я недавно прочел. В общем, речь там идет об одном нищем мальчишке и о принце, и они, если не считать того, что один – принц, а другой – нищий, во всем остальном: лицом, телосложением – удивительно были друг на друга похожи; и как-то раз, просто из любопытства, они поменялись судьбами, и нищий в конце концов стал настоящим принцем, а принц – настоящим нищим. И я сказал старшей из сестер: пускай попробует представить себя в такой ситуации. Конечно, это не очень вероятно, но чего только, в конце концов, на свете не бывает. Скажем, когда она была совсем-совсем маленькой, ни говорить еще не умела, ни памяти у нее не было, с ней, предположим, приключилась – не важно как, но приключилась – такая же история: ее каким-то образом нечаянно подменили, и она оказалась ребенком в другой семье, причем в такой семье, чьи документы с точки зрения чистоты крови безупречны. Так вот: если это представить, то теперь та, другая девочка чувствовала бы себя другой и носила бы желтую звезду, конечно, а она, старшая из сестер, со своими бумагами о рождении и о родителях, чувствовала бы себя – и не только она бы чувствовала, но и другие люди, конечно, видели бы ее – точно такой, как остальные люди, и думать не думала бы ни о каком различии. Пример этот, как мне показалось, ее немножко даже ошеломил. Сначала она просто молчала, потом, медленно-медленно и так мягко, что я почти ощущал эту мягкость, губы ее приоткрылись, словно она собиралась что-то сказать. Но так ничего и не сказала; вместо этого произошло нечто

другое, куда более странное: она вдруг расплакалась. Лицо она спрятала в сгибе локтя, лежащего на столе, а плечи ее мелко вздрагивали и подергивались. Я очень был удивлен, потому что на такое совсем не рассчитывал; к тому же зрелище это выбило меня из колеи. Вскочив, я наклонился над ней и, слегка касаясь ее волос, плеч и руки, стал умолять, чтобы она перестала плакать. Но она рыдала все горше, а потом срывающимся голосом, не отрывая лица от локтя, стала кричать что-то в том роде, что если наши собственные свойства тут никакого значения не имеют, то все это – какая-то дурацкая случайность, и что если бы она могла быть другой, не той, кем вынуждена быть, тогда «все это не имеет никакого смысла» и вообще это «невозможно вынести». Я растерялся: ведь, конечно, я был виноват во всем, но откуда же мне знать, что эта мысль для нее так важна. Я уже почти готов был сказать, мол, не обращай внимания, ведь вот для меня никакого значения не имеет, какая у тебя кровь, я вовсе не презираю тебя за это; но, слава Богу, я удержался и ничего не сказал, почувствовав, что слова мои прозвучали бы немножко смешно. Только все-таки мне было жаль, что я не мог высказаться, потому что в тот момент я действительно все это чувствовал в своей душе, совершенно независимо от собственного положения, а значит – как тут еще скажешь? – свободно. Хотя, конечно, в иной ситуации, может быть, и мнение у меня было бы иное. Не знаю. Зато знаю твердо, что проверить это – не в моих силах. И все же это как-то меня удручало. По какой причине, точно не скажу, но впервые со мной случилось такое: я чувствовал нечто, мне кажется, в самом деле напоминавшее стыд.

И, уже когда мы были на лестнице, я вдруг узнал, что, поддавшись подобным чувствам, я, кажется, сильно обидел Аннамарию: дело в том, что я заметил: она как-то странно себя ведет. Когда я что-то сказал ей, она даже не ответила. Я было взял ее за руку, но она вырвалась и убежала, оставив меня на лестнице одного.

На следующий вечер я напрасно ждал, что она, как обычно, зайдет за мной. Потому и я не решился подняться к сестрам: ведь до сих пор мы всегда ходили туда с ней вместе, и они стали бы спрашивать, что с ней. И вообще, я сейчас лучше понимал то, о чем вчера говорила старшая из сестер.

Правда, у Флейшманов вечером Аннамария все-таки появилась. Но разговаривала со мной сначала очень сухо; лицо ее немного смягчилось лишь после того, как на вопрос, хорошо ли я провел у сестер время, я ответил, что не был там. Она поинтересовалась почему, на что я ответил чистую правду: не хотел идти без нее; ответ, как я видел, ей понравился. Спустя какое-то время она даже согласилась посмотреть со мной рыбок; оттуда мы верну-

лись совсем помирившись. Позже, когда вечер подходил к концу, Аннамария сделала еще одно, последнее замечание, касающееся всей этой истории. «Это была первая наша ссора», – сказала она.

3

На следующий день со мной произошел немного странный случай. Утром я встал вовремя и, как обычно, поехал на работу. День обещал быть жарким; автобус и сегодня был набит до отказа. Мы уже выехали из города, автобус гулко прогрохотал по короткому, лишенному всяких архитектурных украшений мосту, что ведет на остров Чепель; отсюда дорога довольно долго бежит по голой, открытой местности: по сторонам ее тянулись поля, слева виднелось какое-то плоское строение, похожее на ангар, справа тут и там блестели стекла оранжерей... И тут вдруг автобус резко затормозил, затем снаружи донеслись обрывки каких-то команд, потом кондуктор и пассажиры передали мне распоряжение: если в автобусе есть евреи, они должны выйти. Ага, подумал я, наверняка документы проверяют, насчет разрешения на выезд из города.

И в самом деле, на дороге стоял полицейский. Я тут же молча протянул ему свое удостоверение. Но он сначала махнул шоферу: мол, поезжай дальше. Я уже было подумал, что он невнимательно прочитал мою бумагу, и приготовился объяснить ему, что я, как значится в удостоверении, работаю на оборонном предприятии и мне некогда тут болтаться без дела; но тут вдруг раздались голоса, и я увидел кучу ребят, вместе с которыми работал на нефтеперегонном заводе. Они вылезли из-за насыпи. Оказалось, полицейский снял их с предыдущих автобусов, и теперь они, глядя на мою растерянную физиономию, откровенно веселились: вот-де и ты прибыл. Даже полицейский ухмылялся, как человек, который, хоть он и посторонний, все же в какой-то степени тоже участвует в развлечении; я сразу понял, он против нас ничего не имеет – да ничего и не может иметь, естественно.

Я спросил у ребят, что все это значит; но они пока и сами ничего не знали.

Какое-то время полицейский занят был тем, что останавливал автобусы, следующие из города: выходил на дорогу и скидывал вверх ладонь; нас, остальных, он в такие моменты каждый раз отсылал за насыпь. И каждый раз повторялась одна и та же сцена: вновь прибывшие сначала были сильно удивлены, а кончалось все смехом. Полицейский выглядел довольным. Так продолжалось примерно четверть часа. Было ясное летнее утро, солнце уже согрело землю на откосе насыпи: мы ощущали это, когда лежали на траве. Вдали, в голубоватой дымке, хорошо видны были пузатые резервуары нефтеперегонного завода. За ними дымили фабричные трубы, еще дальше, уже смутно, маячил островерхий

купол какой-то церкви. Нашего брата все прибывало: ребята, по одному или группами, появлялись из идущих со стороны Будапешта автобусов. Прибыл Кожевник – подвижный, веснушчатый парень с черной щетиной на коротко стриженной голове, весельчак и заводила; Кожевником его прозвали за то, что он, в отличие от нас, гимназистов, учился – до того как его приписали к заводу – делать всякие нарядные изделия из кожи. Прибыл и Курилка: его почти никогда не увидишь без сигареты в зубах. Правда, многие другие парни тоже курили; чтобы не отставать от других, попробовал сигарету и я; но, я заметил, он занимается этим совсем по-другому, с какой-то, почти лихорадочной, жадностью. Глаза у него тоже были странные, с лихорадочным блеском. Держался он независимо, но был молчалив и необщителен; ребята его недолюбливали. Я, правда, все же спросил у него однажды, что за удовольствие он находит в поглощении такого количества табачного дыма. Он ответил коротко: «Дешевле, чем жратва». Я был слегка ошарашен: такая причина мне и в голову не могла прийти. Но еще сильнее удивил меня насмешливый, почти презрительный взгляд, которым он смерил меня, заметив мою растерянность; мне стало не по себе, и больше я его ни о чем не спрашивал. Но с этого момента мне стала понятнее та настороженность, с которой относились к Курилке остальные. С куда более искренней радостью встретили они другого члена нашей команды, которого все, кто был с ним дружен, звали почему-то Сутене-ром. Впрочем, мне эта кличка казалась удачной: темные, гладкие, блестящие волосы, большие серые глаза, притягательная и в то же время чуть хищная улыбка – он в самом деле казался этаким жиголом; позже я узнал, что прозвище это дали ему, собственно говоря, за то, что в прежней, домашней, жизни он вроде бы очень умел ладить с девушками. Один из автобусов доставил нам Рози: фамилия его, собственно, Розенберг, но все пользовались таким сокращенным вариантом. По какой-то причине его мнение считалось у нас авторитетным, и в вопросах, которые касались нас всех, мы, как правило, прислушивались к его советам; он обычно ходил и к мастеру, если у нас были какие-то просьбы. Я слышал, он учился в торговом училище и вот-вот его закончит. У него было умное, хотя слишком вытянутое лицо, волнистые, белокурые волосы и неподвижный взгляд водянисто-голубых глаз; он напоминал какие-то старинные картины в музеях, под которыми висят таблички «Инфант с гончей» или что-нибудь в этом роде. Приехал и Мошкович, низкорослый парнишка с неправильным, даже, я бы сказал, довольно некрасивым лицом и крупным тупым носом, на котором сидели очки с линзами, почти такими же толстыми, как у моей бабушки. И так далее, вся наша команда.

Все были в растерянности, как и я, и считали, что странная эта история – наверняка недоразумение, которое скоро должно проясниться. Мы поговорили с Розы, он подошел к полицейскому и спросил: не будет ли у нас неприятностей, если мы опоздаем к началу работы, и когда, собственно, нас собираются отпустить? Полицейский ни капли не рассердился, услышав этот вопрос, и ответил, что дело вовсе не в нем, не в том, что он решит или не решит. Как выяснилось, он сам знает не намного больше нас. Сославшись на какие-то «дальнейшие распоряжения», которые должны поступить, он заявляет, что пока может только сказать: и ему, и нам следует проявить терпение. Таков был в общем его ответ. Все это звучало хотя и не слишком ясно, однако, в сущности – с этим все ребята были согласны, – не так уж страшно. И вообще, полицейскому мы в конце концов так и так обязаны были подчиняться беспрекословно. Что мы и делали с легким сердцем, поскольку с нашими удостоверениями, на которых стояла печать оборонного предприятия, мы, само собой, не видели особых причин принимать полицейского уж очень всерьез. Он же, со своей стороны, убедился – как выяснилось из его слов, – что имеет дело с «людьми разумными», и надеется, что может и в дальнейшем рассчитывать на нашу «дисциплинированность»; у меня сложилось впечатление, что мы ему в общем понравились. Он тоже как человек располагал к себе: был он довольно невысокого звания, ни молод, ни стар, на загорелом лице выделялись очень светлые глаза. По некоторым его словам я сделал вывод, что вырос он, скорее всего, в деревне.

Было уже семь часов: на нефтеперегонном заводе сейчас начинается рабочий день. Автобусы перестали привозить новых ребят, и полицейский спросил, все ли мы здесь. Розы пересчитал нас и доложил: все в сборе. Тогда полицейский сказал, что, пожалуй, не стоит торчать здесь, на обочине дороги. Выглядел он озабоченным, и у меня возникло ощущение, что он, собственно, в самом деле, как и мы, не знает, что будет дальше. Он даже спросил: «Что же мне с вами делать-то?» Но тут мы, само собой, помочь ему не могли. Перешучиваясь, пересмеиваясь, мы окружили его, словно школьный класс на экскурсии, собравшийся вокруг своего учителя; он же стоял среди нас с задумчивым выражением, поглаживая подбородок. Наконец он предложил: давайте пойдём в помещение таможни. Мы двинулись вслед за ним вдоль шоссе – и вскоре оказались у стоящего на отшибе облезлого одноэтажного строения; «Таможня» – значилось на выгоревшей вывеске возле входа. Полицейский вынул связку ключей, выбрал из них один и открыл дверь. Мы вошли и оказались в просторном прохладном, хотя и бедно обставленном помещении: две скамейки да длин-

ный стол, потертый и грязноватый. Полицейский открыл еще одну дверь, за которой была комната куда меньших размеров, что-то вроде служебного кабинета. Как я успел заметить в не сразу притворенную дверь, там был ковер, письменный стол, телефон на столе. Потом мы услышали, как полицейский куда-то звонит; разговор был недолгий, но слов мы не разобрали. Думаю, он торопил кого-то насчет «дальнейших распоряжений»; во всяком случае, выйдя (и старательно закрыв дверь на ключ), он сообщил: «Пока ничего. Так что придется ждать». И посоветовал нам располагаться поудобнее. Потом спросил, знаем ли мы какие-нибудь коллективные игры. Кто-то – помнится, это был Кожевник – предложил «жмурки». Правда, полицейскому это не очень понравилось; он даже сказал, что ожидал от «таких разумных мальчиков» чего-то большего. Какое-то время он провел с нами, разговаривал о том о сем, даже шутил; у меня было такое чувство, что он очень старается нас как-то развлечь, чтобы нам не пришло в голову заняться чем-нибудь не тем: он ведь еще на шоссе говорил, что мы должны быть дисциплинированными; но, видно, в общении с подростками у него особого опыта не было. Так что скоро он бросил эти старания и ушел, сказав, что у него дела. Мы слышали, как он закрыл дверь снаружи на ключ.

О том, что было дальше, рассказывать труднее. Все выглядело так, что «дальнейших распоряжений» нам придется ждать долго. Но нам вроде и торопиться было особо некуда: в конце концов мы же не сами виноваты, что проводим время впустую. В чем в чем, а в одном мы все были согласны: куда приятнее прохладиться тут, бездельничая, чем потеть на работе. Нефтеперегонный завод – не то место, где можно посидеть в тенечке. Розы там, помнится, специально ходил к мастеру, чтобы нам разрешили снять рубашки. Это, правда, не очень согласуется с буквой закона: ведь если ты без рубашки, то как узнать, есть у тебя желтая звезда или нет? Но мастер все-таки, по доброте своей, дал разрешение. Только Мош-кович с белой, как бумага, кожей скоро пожалел о рубашке: спина у него в два счета стала багрово-красной, и мы много смеялись, глядя, как он сдирает с себя длинные лоскуты.

Словом, мы с удобствами расположились на скамьях или прямо на полу таможни; чем мы занимались, я, честное слово, не мог бы точно сказать. Во всяком случае, болтовня шла несмолкаемая, с шутками, с анекдотами; появились сигареты, попозже – свертки с едой. Вспомнили про мастера: то-то, должно быть, удивлялся он нынче утром, когда нас не оказалось к началу работы. У кого-то нашлись гвозди для игры под названием «бык». Этой игре я научился уже тут, у ребят; заключается она в том, что кто-нибудь подбрасывает вверх один гвоздь, а остальные хватают гвозди из

общей кучи: победит тот, кто наберет больше всех, пока подброшенный гвоздь не попадет снова в руки игрока. Побеждал каждый раз Сутенер с его длинными, проворными пальцами. Потом Роза научил нас одной песне, и мы спели ее много раз подряд. Интересна она тем, что текст можно петь на трех языках, хотя слова остаются одни и те же: если ты к слову добавляешь окончание -эс, то получается как бы по-немецки, если -ио, то – по-итальянски, а если -таки, то вроде по-японски. Конечно, все это – чистая чушь; но по крайней мере нам не было скучно.

Потом я стал наблюдать за взрослыми, которых доставил к нам все тот же полицейский. Значит, пока его не было с нами, он снова, как и утром, стоял на шоссе, останавливая идущие из Будапешта автобусы. Взрослых набралось человек семь-восемь, все мужчины. Но, как я заметил, они донимали полицейского куда больше, чем мы: требовали объяснений, возмущались, пытались втолковать, кто они такие, совали под нос свои документы, приставали с вопросами. Они и на нас сначала напали: кто мы такие, как здесь очутились? Но в общем они держались кучкой, отдельно от нас. Мы уступили им пару скамеек, и они сидели на них, нахохлившись, или топтались рядом. Говорили они о разных вещах, я всего не помню. Но главное, к чему они возвращались снова и снова, это желание понять причину, по которой их задержали и заперли здесь; а еще они ломали голову над тем, какие последствия им грозят; но тут, насколько я мог разобрать, к единому мнению они так и не пришли: каждый настаивал на своем варианте. В общем и целом, как я заметил, это зависело от того, какой документ каждый из них имел в своем распоряжении; как я понял, у них у всех были какие-то бумаги, которые давали им право приехать на Чепель: одни оказались здесь по личным делам, другие – по службе или по работе, как, скажем, и наша команда.

Несколько необычных лиц я все же обнаружил и среди них. Например, я обратил внимание, что один из них не принимал участия в общем разговоре: с начала и до конца он сидел и читал какую-то книгу, которая, видимо, была у него с собой. Он был высок и худощав, одет в желтую штормовку; на небритом лице выделялся резко очерченный рот с двумя глубокими морщинами, идущими от углов губ, – морщины эти придавали его лицу неприятное, угрюмое выражение. Он выбрал себе место на самом краю одной из скамеек, возле окна, и сидел, полуотвернувшись от остальных, положив ногу на ногу, – наверно, поэтому я нашел его похожим на человека, который много ездит по железной дороге, в сидячих вагонах, и не любит тратить время на пустую болтовню с попутчиками, предпочитая со скучливым равнодушием ждать

прибытия к цели назначения; во всяком случае, такие мысли он пробудил во мне.

Еще на одного человека – довольно немолодого уже, но с благородной, ухоженной внешностью, с серебряными висками и круглой лысиной на макушке, я обратил внимание сразу после того – дело шло уже хорошо к полудню, – как он появился; да и мудро было не обратить на него внимания: очень уж энергично он выражал возмущение, когда полицейский приглашал его войти в дверь. Он сразу спросил, есть ли здесь телефон и «может ли он им воспользоваться»? Полицейский, однако, объяснил ему, что очень жаль, но аппарат здесь «предназначен исключительно для служебных целей»; тогда мужчина замолчал, только поморщился досадливо. Позже, уступив расспросам остальных, он, хотя и довольно скупое, сообщил, что, как и мы, прикреплен к какому-то чепельско-му заводу: в качестве, как он сам выразился, «эксперта»; в подробности он не вдавался. Вообще же выглядел он довольно уверенным в себе, и, насколько я мог судить, представления его в общем и целом похожи были на наши, с той, правда, разницей, что факт задержания скорее оскорбил его, чем удивил. Я заметил, что о полицейском он отзывался с пренебрежением, как о «пустом месте». Дескать, «действует он, подчиняясь каким-то общим указаниям», и при этом, по всей очевидности, «из чрезмерного старания явно перегибает палку». И еще он высказал уверенность, что «компетентные в таких вопросах люди», по всей очевидности, в конце концов вмешаются и наведут порядок, и произойдет это, он надеется, в самом скором времени. Потом его голоса как-то не стало слышно, и я про него забыл. Лишь во второй половине дня, с приближением вечера, он вновь ненадолго привлек к себе внимание; но к этому времени я уже слишком устал, чтобы наблюдать за ним; я заметил только, что он держался очень уж нервно: то садился, то вскакивал, то складывал руки на груди, то сплетал пальцы за спиной, то смотрел на часы.

И еще одного взрослого я запомнил: это был чудной человек, с характерным еврейским носом, с большим вещевым мешком за плечами, одет он был в короткие штаны, так называемые гольфы, и башмаки какого-то великанского размера; даже желтая звезда на нем, казалось, была больше, чем обычно. И суетился он больше всех: к каждому подходил и подробно рассказывал, как ему «не повезло». Так что я в общих чертах запомнил, что с ним приключилось; тем более что история-то довольно простая, а повторял он ее много раз. Собрался он сюда, на Чепель, навестить «тяжелобольную» мамашу

– так он каждый раз начинал свой рассказ. Для этого он даже выхлопотал специальное разрешение: вот оно, показывал он

каждому бумагу с печатью. Разрешение было действительно только на сегодня, и то не на весь день, а до двух часов. Но что-то ему помешало отправиться рано утром, какое-то дело, которое он называл «безотлагательным» и которое связано было с его «ремеслом». Но в конторе, куда он пошел это дело улаживать, были люди, и очередь до него дошла не скоро. Он уже стал опасаться, что поездка к мамаше сорвется, – объяснял он очередному слушателю. Поэтому он чуть не ли бегом помчался на трамвай, чтобы поскорее добраться до конечной остановки автобуса. По дороге, прикинув, сколько времени займет дорога туда и обратно, он пришел было к выводу, что пускаться в такой путь довольно рискованно. Но когда он слез с трамвая, то увидел: двенадцатичасовой автобус еще стоит на остановке. И тут, толковал он слушателю, он подумал: «Сколько же я добивался этого разрешения, этого вот лоскутка бумаги!.. Да и мамочка, бедная, ждет», – добавлял он и тут же начинал рассказывать, что у него и у его жены забот с престарелой мамашей по горло. Они давно ее уговаривают перебраться к ним, в город. А она все откладывает да откладывает, вот и дооткладывалась. Он сокрушенно качал головой: по его мнению, старая лишь домик свой хотела сохранить «во что бы то ни стало». «А разве это дом? В нем даже удобств нет никаких... Но, – продолжал он, – что тут поделаешь: мать же. Да и больна, бедняжка, и пожилая уж очень». Тут он, сделав паузу, сообщил: упусти он этот случай повидать ее, «никогда бы, наверно, себе не простил». Короче говоря, он все-таки вскочил, в последний момент, на автобус. И здесь он опять замолкал на минуту-другую. Затем медленно поднимал и, с беспомощным видом, ронял руки, на лбу его собиралась тысяча мелких недоуменных морщинок, и он становился немного похожим на какого-то грустного, попавшего в западню грызуна. «Что вы думаете, – спрашивал он, вновь устремляя взгляд на собеседника, – у меня будут теперь из-за этого неприятности? Ведь они должны принять во внимание, что я нарушил указанный срок не по своей вине! И что теперь подумает мамочка, которую я известил, что приеду? Что подумает жена с двумя деточками, если меня в два часа все еще не будет дома?..» По тому, куда был направлен его взгляд, я понимал: мнения или ответа он ждет главным образом от описанного выше человека с благородной внешностью, назвавшегося «экспертом». Но тот, как я видел, не очень-то и слышал его: в пальцах у него была сигарета, которую он только что достал из серебристо поблескивающего портсигара, и кончиком сигареты он постукивал по рифленой крышке с выдавленными на ней буквами. Видно было, что он погружен в какие-то свои, невеселые, далекие мысли; история насчет поездки к престарелой мамаше его, по-видимому, мало

волновала. Тогда человек в «гольфах» снова принялся объяснять, как ему не повезло: ведь опоздай он всего на каких-нибудь пять минут, автобус уже уехал бы, следующего ждать не было никакого смысла; а значит – то есть при условии, что все, что случилось, случилось бы «всего-навсего с разницей в пять минут», – сейчас он «сидел бы не здесь, а дома», – снова и снова объяснял он окружающим.

Помню я еще одного взрослого, с лицом, похожим на тюленью морду: он был весь круглый, плотный, у него были густые черные усы и пенсне в золотой оправе, и он все время порывался «побеседовать» с полицейским. От внимания моего не укрылось, что сделать это он пытался по возможности в стороне от других, без свидетелей, где-нибудь в углу или у дверей. «Господин пристав,

– слышал я время от времени его приглушенный, хрипловатый голос, – можно с вами поговорить?» Или: «Господин пристав, позвольте... Всего два слова, если не возражаете...» В конце концов полицейский сдался и спросил, что он желает. Тогда человек с тюленьим лицом вдруг заколебался. Пенсне его неуверенно блеснуло, он стал озираться вокруг. И хотя на сей раз они находились в углу, поблизости от которого сидел и я, в глухом его бормотании я не мог разобрать ни слова; кажется, он пытался в чем-то убедить полицейского. Потом на его лице мелькнула заискивающая, слащавая улыбка. Он пригнулся к полицейскому – сначала немного, потом все ближе и ближе. Одновременно я заметил какое-то странное движение, которое он сделал. Я не совсем понял, что это означает: сначала, собственно, он вроде бы поднял руку, собираясь что-то достать из внутреннего кармана – возможно, какой-нибудь исключительно важный документ, который он не мог показать никому, кроме официального представителя власти. Но напрасно я ждал – что же появится из внутреннего кармана: движение его так и осталось незавершенным. Правда, и опустить руку он не хотел: что-то словно мешало ему, или он вдруг забыл, что хотел сделать, и рука замерла где-то на вершине проделанной траектории, не добравшись до цели. В конце концов пальцы его так и остались снаружи, ощупывая зачем-то ткань пиджака возле желтой звезды, бегая по груди вроде большого, покрытого редкой шерстью паука, или, скорее, вроде какой-то морской твари, которая искала в одежде щель, чтобы спрятаться там от дневного света. Сам он в это время все говорил и говорил, и заискивающая улыбка все не сходила с его лица. Эпизод этот занял каких-то несколько секунд, не более. Потом я увидел лишь, как полицейский очень быстро и решительно – весьма решительно – положил конец разговору и, как мне показалось, даже немного рассердился за что-то на собеседника; в самом деле, хотя я не очень-то пони-

мал, что там произошло, однако по какой-то, трудно объяснимой причине поведение этого человека и мне показалось в некоторой степени подозрительным.

Другие лица, другие события я помню не очень хорошо. Да и вообще: по мере того, как шло время, мое внимание и вместе с ним моя способность наблюдать за происходящим все более притуплялись. Могу, правда, сказать, что с нами, молодыми, полицейский и далее держался весьма дружелюбно. Со взрослыми же, как мне показалось, он был чуть менее доброжелателен. Но ближе к вечеру печать утомления лежала уже и на нем. Он все чаще сидел, с усталым видом, с нами или в своем кабинете, уже не обращая внимания на проходившие по шоссе автобусы. Я слышал, как он время от времени звонил по телефону; раз или два он и нам сообщал: «До сих пор ничего», – уже не пытаюсь скрыть своего недовольства. Вспоминаю я и еще один момент. Это было где-то сразу после полудня: к нашему полицейскому приехал на велосипеде его приятель, другой полицейский. Он оставил свой велосипед у входа, прислонив его к стене, потом они ушли в кабинет нашего полицейского, плотно закрыв за собой дверь. Вышли они оттуда не скоро и, прощаясь, долго трясли руки друг другу. При этом они ничего не говорили, но смотрели друг на друга, кивая, примерно с таким выражением, с каким, бывало, в прежние времена в конторе моего отца пожимали друг другу руки торговцы, перед этим излившие коллеге душу, поплакавшие на тяжелые времена, на вялую торговлю. Конечно, я понимал, полицейских с торговцами сравнивать трудно; и все-таки, когда я смотрел на их лица, в памяти у меня невольно всплывала та, знакомая, несколько пессимистическая озабоченность, то, знакомое, печальное смирение: эх, ничего тут не поделаешь, все равно дела идут, как идут. Но я начал уставать; из дальнейшего мне запомнилось лишь, что было жарко, скучно и хотелось спать: я даже задремал ненадолго, кажется.

Вот так, в общем и целом, прошел день. Наконец, часа примерно в четыре, как наш полицейский и обещал, пришли долгожданные «дальнейшие распоряжения». Мы должны были отправиться в путь, чтобы где-то там предстать перед «начальством» с целью предъявления наших документов: так нас информировал полицейский. Ему же, должно быть, это сообщено было по телефону: перед этим мы слышали доносившиеся из его комнаты торопливые, свидетельствующие о каких-то изменениях звуки, нетерпеливые телефонные звонки, потом голос полицейского, который тоже кому-то звонил и вел с кем-то короткие деловые разговоры. Еще полицейский сказал нам – хотя его тоже не очень-то посвящали в подробности, – что речь, видимо, идет всего лишь о не-

большой формальной проверке: да иначе и быть не может в таком простом и не вызывающем сомнения с точки зрения закона случае.

Нас построили по трое, и мы двинулись в путь – назад, по направлению к городу; колонны, подобные нашей, вышли из всех пограничных пунктов в окрестностях одновременно – в этом я мог убедиться, когда, перейдя мост, мы стали встречать другие группы, состоящие из людей с желтой звездой и сопровождаемые одним, двумя, а то и даже тремя полицейскими. В одном из конвоиров я узнал того полицейского, что приезжал к нам на велосипеде. Я заметил, что полицейские в таких случаях приветствовали друг друга с деловым выражением лица, обмениваясь одним-двумя словами или жестом, словно им заранее было известно об этой встрече, – и тогда мне понятнее стало, зачем наш полицейский звонил туда-сюда перед отбытием: наверняка они согласовывали друг с другом маршрут, сроки и другие детали. В конце концов я обнаружил, что шагаю в середине длинной колонны, с двух сторон которой, на определенной дистанции друг от друга, идут полицейские.

Так мы шли – все время по шоссе, потом по проезжей части улиц – довольно долго. Стояло тихое, ясное летнее предвечерье, улицы, как всегда в этот час, были заполнены пестрой толпой; правда, все это я видел как бы немного в тумане. Скоро я перестал ориентироваться в местах, где мы проходили: улицы и площади вокруг были мне плохо знакомы. А затем многолюдье, нетерпеливые сигналы автомобилей, а главное, раздражающая толкотня, неудобства, которые неизбежны, когда сомкнутая колонна вынуждена продвигаться по тесным, запруженным улицам, – все это, вместе взятое, довольно основательно отвлекло, притупило мое внимание. Так что в долгом этом походе больше всего мне запомнилось, собственно, то поспешное, немного растерянное, едва ли не стыдливое любопытство, с которым люди на тротуарах взирали на нашу колонну (любопытство это поначалу даже забавляло меня, но мало-помалу я и его перестал замечать); да, и было еще одно, довольно странное происшествие, которое случилось чуть позже. Мы шли по широкой и шумной улице, в самой гуще невыносимо шумного потока машин и людей; не знаю уж, каким образом, но в середине нашей колонны, как раз немного впереди меня, оказался трамвай. Нам пришлось замедлить шаг, напирая и наталкиваясь друг на друга, чтобы пропустить его, – и тут мне бросилось вдруг в глаза, как где-то передо мной, в облаках пыли и газа, в несмолкаемом гуле, стремительно метнулось в сторону желтое пятно; это был тот молчаливый человек, который целый день сидел и читал свою книгу. Один рывок – и он раство-

рился в мешанине машин и людей. Я не поверил своим глазам: все это как-то не вязалось – такое у меня было ощущение – с его поведением в таможне. В то же время у меня появилось и другое чувство – некое веселое удивление, даже, может быть, восхищение, сказал бы я, простотой этого поступка: в самом деле, я вдруг увидел, что еще один или два человека из нашей колонны, там, впереди, следуя его примеру, бросились в сторону и исчезли в толпе. Я и сам огляделся – хотя, скорее, так сказать, из спортивного интереса: других причин, чтобы взять и сбежать, я не видел; думаю, и времени мне хватило бы; но я все же не сделал этого: честь была мне дороже. А тут и полицейские кинулись наводить порядок, и колонна вокруг меня сомкнулась.

Некоторое время мы еще шли вперед; потом все стало происходить быстро, неожиданно и немного ошеломляюще. Мы вдруг повернули, и я понял, что мы прибыли на место: колонна стала входить в какие-то широкие, настежь распахнутые ворота. Тут только я заметил, что сразу же за воротами полицейских по сторонам колонны заменили другие люди, в форме, похожей на

армейскую, с пестрыми перьями на головных уборах[1]: это были жандармы. Они вели нас по лабиринту серых строений все дальше и дальше, пока мы не оказались вдруг на огромной, усыпанной белым щебнем площади: больше всего это напоминало, как мне показалось, двор какой-то казармы. Тут я сразу обратил внимание на человека высокого роста и начальственного вида: он направлялся прямо к нам из строения, стоящего напротив. На нем были высокие

сапоги и облегающая униформа с золотыми звездочками на погонах, с ремнем, пересекающим грудь по диагонали. В руке у него была тонкая, гибкая трость, какие используют при верховой езде, и он постоянно похлопывал ею по своему блестящему голенищу. Минутой позже, когда мы замерли в неподвижности, я увидел, что он – человек в своем роде даже красивый, с крепким, спортивно сложенным телом, мужественными чертами лица и узенькой, по тогдашней моде, полоской черных усов, которые очень шли к его загорелой коже; он немного напоминал героев-любовников из кинофильмов. Когда он приблизился, жандармы скомандовали нам «смирно». Из того, что последовало за этим, в памяти у меня осталось лишь два быстро сменивших друг друга впечатления. Во-первых, у офицера со стеклом оказался визгливый, пронзительный, немного как у ярмарочных зазывал, голос, который до того не вязался с его изысканной внешностью, что я от удивления мало что разобрал из сказанного им. Мне все-таки удалось уловить, что «расследование» – он употребил это выражение – «расследование» по нашему делу он намерен провести

завтра; объявив это, он сразу же повернулся к жандармам и своим странным голосом, заполнившим весь плац, приказал отвести «всю эту еврейскую шваль» туда, где ей, собственно, и место, то есть в конюшню, и запереть там до утра. Второе мое впечатление – начавшийся после этого невообразимый гвалт: жандармы, внезапно войдя в раж, все разом и во всю глотку выкрикивали команды, чтобы куда-то направить нас. Эти вопли настолько сбивали с толку, что я какое-то время не мог сообразить, в какую сторону повернуться, и помню лишь, что мне вдруг стало немного смешно: во-первых, от удивления и от суматохи, от ощущения, что меня угораздило вляпаться в какую-то идиотскую комедию, в которой к тому же мне не совсем понятна собственная роль, а во-вторых, еще и от мысли, вдруг мелькнувшей у меня в голове: я подумал, какое нынче вечером будет лицо у мачехи, когда она убедится, что напрасно ждет меня к ужину.

4

Питья – вот чего больше всего не хватало в поезде. Еды, если даже учесть все случайности, должно было вроде хватить надолго; но вот запить еду было нечем, и это было ужасно неприятно. Соседи по вагону сразу сказали: первая жажда проходит быстро. В конце концов ты вообще о ней забываешь, а потом она вдруг появляется снова – и уже не позволяет думать ни о чем другом, объясняли знающие. Шесть-семь дней, утверждали они, даже в жаркую погоду, без воды можно кое-как протянуть – при условии, разумеется, что ты здоров, не слишком потеешь и не ешь много мяса и специй. Так что, успокаивали меня, время еще есть; и добавляли: все зависит от того, долгой ли будет дорога.

В самом деле, мне и самому было это интересно: на кирпичном заводе нам об этом ничего не сказали. Только объявили: кто хочет поехать на работу в Германию, пускай записывается. Мысль эта мне, как и остальным ребятам из нашей компании, да и многим другим на кирпичном заводе, сразу показалась привлекательной. И вообще – как говорили люди из так называемого Еврейского совета (их можно было узнать по специальной повязке на руке) – так или этак, добровольно или принудительно, всех, кого собрали тут, на кирпичном заводе, рано или поздно все равно вывезут в Германию, так что самым первым, тем, кто вызовется сам, добровольно, достанутся лучшие места, а также та привилегия, что поедут они всего по шестьдесят человек в вагоне, а тем, кто позже, придется размещаться, из-за нехватки поездов, не меньше чем по восемьдесят человек; когда нам все это объяснили, особо раздумывать и колебаться не было смысла, мне тоже так показалось.

Трудно было бы спорить и с другими доводами, которые относились к тесноте и скученности, царившим на кирпичном заводе, к последствиям этой тесноты, которые могут отразиться на нашем здоровье, ну и, конечно, к умножающимся трудностям с питанием: все это в самом деле имело место, и я сам это чувствовал на себе. Уже в тот день, когда нас доставили сюда из жандармерии (многим из взрослых о жандармерии этой были наслышаны, они называли ее «казармой имени Андрашши»), кирпичный завод был битком набит людьми. Тут были вперемешку и мужчины, и женщины, и дети всех возрастов, и бесчисленные старики обоюго пола. Куда бы ты ни ступил, везде натыкался на одеяла, вещевые мешки, чемоданы разного размера и фасона, узлы, какое-то тряпье. Все это, а кроме того, множество мелких неудобств, неприятных и раздражающих мелочей, которые, видимо, неизбежно возникают, когда такое скопище людей вынуждено долго жить вме-

сте, – скоро и мне, естественно, стали действовать на нервы. К этому добавлялось безделье, дурацкое состояние ожидания неизвестно чего, ну и, конечно, скука. Вот почему из пяти дней, которые я там провел, ни один не запомнился мне по отдельности; да и от вместе взятых в памяти у меня остались от них разве что какие-то детали. Во всяком случае, я хорошо помню, что мне было легче от того, что вокруг были все ребята из нашей компании: и Розы, и Сутенер, и Кожевник, и Курилка, и Мошкович, и остальные. Я убедился, что ни один из них не сбежал: все они тоже оказались честными. С жандармами на кирпичном заводе мне лично тоже не пришлось сталкиваться; я видел, что они в основном несут охрану с внешней стороны, иногда – вместе с полицейскими. О последних на кирпичном заводе говорили, что они понятливее жандармов, да и навстречу идут охотно, особенно если сумеешь договориться насчет компенсации в деньгах ли, в других ли ценностях. Главным образом они – так я слышал – соглашались выполнять мелкие просьбы: отправляли письма, передавали какие-то сообщения родственникам; но некоторые из наших говорили, причем весьма убежденно, что в принципе с полицейскими можно – правда, добавляли говорившие, очень редко и с большим риском – найти общий язык и в смысле побега; правда, что-нибудь совершенно определенное мне об этом так и не удалось узнать. Но именно тогда мне вспомнился случай на таможне, и именно тогда я, кажется, точно понял, о чем так сильно хотел потолковать с полицейским тот человек с тюленьим лицом. И именно тогда я узнал, пускай задним числом, что наш полицейский оказался человеком честным. Этот факт нашел потом подтверждение: бродя по кирпичному заводу, околачиваясь во дворе или стоя в очереди к общественной кухне, в калейдоскопе чужих лиц я раз или два, кажется, видел знакомое тюленье лицо.

Из тех, кого я впервые встретил в таможне, видел я и невезучего бедолагу: он часто приходил посидеть с нами, с «молодежью», «немного отвести душу», как он сам выражался. Должно быть, пристанище он нашел себе где-то недалеко от нас, на заводском дворе, в одном из многочисленных, одинаковых – с драночной крышей, но со всех сторон открытых – навесов, которые, как я слышал, служили когда-то для сушки кирпича. Вид у Невезучего был довольно жалкий, на лице виднелись синяки и ссадины; он объяснил нам, что это – результат «расследования», проведенного жандармами: в его вещмешке они обнаружили лекарства и съестное. Тщетно он доказывал, что и лекарства, и продукты – из домашних запасов и нес он их тяжелобольной мамочке: его обвинили в том, что он спекулирует на черном рынке. Никого не интересовало, что у него имелось разрешение на поездку на Че-

пель, что он всегда чтит закон и в жизни не нарушал ни единой буквы его, как он сам говорил. «Ну как, ничего не слышали? Что с нами будет?» – спрашивал он, остановив кого-нибудь и глядя тревожно ему в лицо. И опять заводил разговор о мамочке, о семье и о том, как ему не повезло. Сколько же он хлопотал об этом разрешении и как радовался, когда его добыл, – вспоминал он, сокрушенно качая головой; разве мог он предположить, что у истории этой будет «такой конец». И все поминал те злосчастные пять минут. Если бы не его невезенье... Если бы автобус ушел в тот момент... – снова и снова горестно вздыхал он. Что же касается того, как с ним обошлись жандармы, тут он в общем-то казался скорее довольным. «Я ведь к ним почти самым последним попал, и, может, в этом было мое счастье, – говорил он. – Они уже торопились». Короче, «могло бы быть хуже», – подводил он итог своему рассказу, добавляя, что в жандармерии «видел случаи и похуже», и это была чистая правда. Я и сам вспоминал подобное. Утром, начиная «расследование», жандармы предупредили нас: пусть никто не надеется, что сумеет утаить свои прегрешения, а также деньги, золото и прочие ценности. Когда подошла моя очередь, мне тоже пришлось выложить на стол перед ними деньги, часы, перочинный нож и все прочее. Ко мне подошел рослый жандарм и быстрыми, даже, я бы сказал, профессиональными движениями ощупал меня от подмышек до коротких штанов. За столом я увидел и старшего лейтенанта: к тому времени из разговоров жандармов между собой выяснилось, что офицера со стеклом зовут Сакал и что он – старший лейтенант. А по левую руку от него – я сразу обратил на него внимание – громоздился, словно гора, жандарм с сомовьими усами, без кителя, отчего еще сильнее бросались в глаза его мощные, как у мясника, мускулы; в руке он держал какое-то орудие в виде вытянутого цилиндра, в общем-то довольно смешное, потому что оно напоминало скалку, какими пользуются кухарки. Старший лейтенант держался вполне дружелюбно: он спросил, есть ли у меня документы, хотя после этого я не заметил ни малейшего знака, ни малейшего намека на то, что бумага моя с печатью произвела на него хоть какое-то впечатление. Я удивился; однако (главным образом потому, что заметил движение руки жандарма с сомовьими усами, движение, в котором был и приказ убираться, пока цел, и очень даже внятный намек на то, что будет, если я не потороплюсь подчиниться) счел, что лучше, само собой, не высказывать своего несогласия.

Затем жандармы вывели нас всех из казармы и сначала, как сельдей в бочку, набили в специальный трамвай из нескольких вагонов, потом, привезя к Дунаю, посадили на судно, а когда мы через некоторое время высадились, повели куда-то пешком; так,

собственно, я и оказался на кирпичном заводе; точнее (об этом я услышал уже на месте): на кирпичном заводе в Будакаласе.

В тот день, когда мы записались на работу в Германию, я узнал еще много всего о предстоящей поездке. Люди с повязками Еврейского совета – там их тоже было много – охотно отвечали на любые наши вопросы. В первую очередь в Германию требовались мужчины помоложе, предприимчивые, одинокие. Но тех, кто интересовался, они, я сам слышал, успокаивали: мол, не волнуйтесь, там найдется место и женщинам, и малышам, и пожилым; к тому же отправляющиеся в путь могут взять с собой все свои пожитки. Самый главный вопрос, по их мнению, был не в этом; главное – удастся ли нам все уладить между собой, по-человечески, по взаимному согласию, или мы будем дожидаться, пока жандармы сами за нас решат? Дело в том, что, как нам объяснили, нужное количество людей для отправки, так или этак, должно быть набрано, а если количество это не наберется, жандармы проведут отбор, как они сами понимают; короче говоря, большинство наших, и я в том числе, находили, что первый вариант, само собой, нам все-таки больше подходит.

Самые разные мнения слышал я и относительно немцев. Многие – причем в основном это были люди немолодые, имевшие за плечами кое-какой жизненный опыт – говорили, что немцы, как бы там они ни относились к евреям, все же, в общем и целом, люди чистоплотные, честные, работающие, любящие порядок и точность и что, встречая эти качества у других, они и других способны уважать; действительно, примерно такие же представления были до сих пор о немцах и у меня; кроме того, я надеялся, что, когда мы туда попадем, мне наверняка пригодится то, что в гимназии я, пускай недолго, учил немецкий язык. Однако больше всего меня радовала сама возможность работать; благодаря этому, как я надеялся, моя жизнь наконец обретет размеренность и упорядоченность, я буду занят полезным делом, у меня появятся новые впечатления, а иногда, конечно, и поводы пошутить, посмеяться; одним словом, я буду вести более разумный, чем до сих пор, и более отвечающий моим вкусам образ жизни, что нам и обещали и о чем мы с ребятами, само собой, много говорили; наряду со всем этим у меня мелькала мысль, что, если все пойдет как надо, то я и мир смогу немножко увидеть. А когда я вспоминал некоторые события последних дней: общение с жандармами, особенно их отношение к моему удостоверению, и вообще все, что со мной происходило, – то, честно говоря, даже любовь к родине не очень-то меня удерживала, если уж говорить и об этом чувстве.

Встречались, однако, у нас и люди недоверчивые, у которых были какие-то совсем другие сведения, в том числе и насчет ха-

рактера немцев; кое-кто к ним подходил: дескать, ладно, раз вы такие умные, посоветуйте тогда, что нам-то делать; третьи, не желая зря тратить время на ссоры и препирательства, выступали за то, чтобы прислушаться к голосу разума, подавая пример другим и достойно показывая себя перед властью; люди вокруг меня, во дворе, сбивались в кучки, которые то распадались, то снова собирались, и без устали обсуждали доводы, возражения, обменивались новостями, слухами и догадками. Кто-то, я слышал, поминал Бога и «неисповедимую волю Его». Как дядя Лайош, человек этот тоже говорил о судьбе, об уделе евреев, и, как дядя Лайош, тоже считал, что мы «отступили от Бога», в чем и кроется причина обрушившихся на нас испытаний. Человек этот все же немного заинтересовал меня, поскольку был напорист в словах и энергичен в движениях; даже лицо у него было несколько необычным: тонкий, большой, горбатый нос, очень яркие, с влажным блеском глаза, красивые, с проседью усы и сросшаяся с ними густая, но короткая борода. Я видел, что его всегда окружает народ, с любопытством внимая его словам. Потом я узнал, что он – лицо духовное: многие называли его «господин рабби». Запомнил я из того, что он говорил, и некоторые необычные слова и выражения; например, он допускал – «ибо глаза, которые видят, и сердце, которое чувствует», дают нам право на это допущение, – что «мы, здесь, на земле, пожалуй, можем оспаривать меру вынесенного нам высшего приговора»; правда, тут он словно бы ненадолго запнулся, голос, чистый и звучный, на минуту словно бы утратил свою всегдашнюю уверенность, а глаза затуманились чуть больше, чем обычно; не знаю почему, но у меня появилось странное ощущение, будто он собирался сказать что-то другое, так что эти слова некоторым образом удивили и его самого. Но он все-таки продолжил свою мысль: по его собственному признанию, он «не хотел бы усыплять себя чем бы то ни было». Он хорошо понимает – для этого достаточно лишь оглядеться вокруг себя, «в этом скорбном месте, и увидеть эти измученные лица» (так он выразился, и сострадание в его голосе мне тоже было удивительно слышать: в конце концов, он ведь тоже находился «в этом скорбном месте»), – да, он хорошо понимает, как тяжела его задача. Но он не считает своей целью «приводить души к Богу Вечному», да для этого и необходимости нет, ибо души наши и так от Него, сказал он. При всем том он призвал нас: «Не ропщите против Господа», – и вовсе не только из-за того, что это грех, но и потому, что путь этот, путь несогласия с Ним, привел бы «к отрицанию высокого смысла жизни», а он убежден, что «с отрицанием в сердце» человек жить не может. Может быть, сердце такое и кажется легким, но потому лишь, что оно – пусто, бесплодно, как

бесплодна пустыня, сказал он; да, очень трудно, живя в несчастьях, в страданиях, видеть бесконечную мудрость Бога Вечного, но это все же единственный путь утешения, ибо – буквально так он сказал – «наступит миг торжества Его, и едины станут в страданиях, и из праха воззовут к Нему те, кто забыл о могуществе Его». Так что, уже сейчас говоря, что мы должны верить в наступление окончательной милости Его («и да будет вера сия опорой нам и неиссякаемым источником сил наших в этот час, час испытаний»), он тем самым обозначал единственный способ того, как нам следует жить. Этот способ он называл «отрицанием отрицания», ибо без надежды «мы погибнем», надежду же можно почерпнуть только из веры и из той неколебимой уверенности, что Господь сжалятся над нами и мы обретем милость Его. Логика рассуждений этого человека была довольно ясной, я не мог этого не признать, хотя все же заметил: в конечном счете он так и не сказал, что, собственно, нам следует делать; не очень-то он был способен дать хороший совет и тем, кто хотел узнать его мнение относительно данной ситуации: записываться ли на отъезд в Германию или лучше остаться и выжидать? Видел я во дворе и Невезучего, причем неоднократно: он подходил то к одной группе, то к другой. Я обратил внимание, что беспокойный взгляд его маленьких, все еще с непрошедшими синяками, глаз, где бы он ни находился, постоянно мечется по сторонам, косясь на другие группы и других людей. Раза два я слышал и его голос: остановив кого-нибудь, он, с напряженным ожиданием на лице, ломая руки, почти умоляюще допытывался: «Извините, а вы-то сами едете?»; потом: «А почему?»; потом: «Вы думаете, так лучше?»

Как раз тогда, помню, пришел записываться на поездку еще один мой знакомый по таможне – Эксперт. За те дни, что мы провели на кирпичном заводе, я вообще-то не раз его встречал. Хотя одежда его была помятой, галстук исчез, лицо покрывала седоватая щетина, в целом на нем все-таки оставалась несомненная печать былой солидности. Появляясь, он сразу притягивал к себе общее внимание, вокруг него собиралось кольцо взволнованных людей, и он едва успевал отвечать на вопросы, которыми они его забрасывали. Дело в том, что, как я скоро узнал, ему удалось поговорить непосредственно с одним немецким офицером. Это произошло недалеко от ворот, там, где находились канцелярии комендатуры, жандармерии и прочих следственных органов и где я и сам в эти дни имел возможность иной раз видеть, как появлялись и тут же торопливо исчезали люди в немецких мундирах. Сначала, как я мог понять, Эксперт пробовал поговорить с кем-нибудь из жандармов. Предпринимал он и попытки, как он выразился, «вступить в контакт со своим предприятием».

Но мы узнали, что жандармы «постоянно отказывали» ему в этом праве, хотя «речь тут шла об оборонном предприятии» и «без него, Эксперта, производство было бы просто невымыслимо», что было признано и официальными органами, хотя свидетельствующий об этом документ, как и все прочее, у него «конфисковали» в жандармерии, – все эти обстоятельства я сложил в единое целое лишь позже, так как упоминал он их между прочим, одновременно отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. Выглядел он крайне возмущенным. Но заметил, что «в подробности не желал бы вдаваться». Правда, именно возмущение и побудило его обратиться к немецкому офицеру. Тот как раз собирался уходить. Эксперт – как он сам нам сообщил – случайно оказался поблизости. «Тут я и подошел к нему», – сказал он нам. Некоторые из наших в самом деле были очевидцами этого случая – и с уважением отзывались о его дерзости. Он же лишь пожимал плечами и отвечал, что без риска не бывает успеха и что он во что бы то ни стало хотел «в конце концов поговорить с кем-нибудь, кто компетентен в таких вещах». «Все-таки я – инженер, – продолжал он и добавлял: – Да и немецким владею в совершенстве». Все это он сообщил и немецкому офицеру, сказав после этого, что его «морально и фактически лишили возможности выполнять свою работу», причем, по его выражению, «без всякой на то причины и вопреки всякому праву, даже в рамках действующих на данный момент предписаний». «Но – кому от этого польза?» – поставил он перед немецким офицером вопрос. И повторил нам то, что сказал и ему: «Я хлопочу не ради каких-либо выгод и привилегий. Просто я обладаю кое-каким положением в обществе, кое в чем разбираюсь – и хотел бы работать в соответствии со своей квалификацией. Вот все, к чему я стремлюсь». Офицер в ответ посоветовал ему записаться на отправку в Германию. Он не давал, заметил Эксперт, никаких «громких обещаний», но заверил, что Германии, которая в настоящий момент собирает все силы ради победы, нужен любой человек, а люди с такими знаниями и с такой квалификацией – особенно. Вот из-за этой-то «рассудительности», прозвучавшей в словах офицера, его совет, признался нам Эксперт, показался ему «корректным и реальным» – именно такие слова он употребил. Особо отметил он, как «импозантно» держался офицер: рядом с этими «неотесанными» жандармами он показался ему человеком «трезвым, сдержанным и во всех отношениях безупречным». Отвечая на другой вопрос, Эксперт сказал, что, «естественно, никаких гарантий тут нет», если не считать гарантией то впечатление, которое произвел на него офицер; но, добавил он, в данный момент приходится довольствоваться и этим; хотя он не думает, что ошибается. «Конечно, – заметил он, – если

интуиция и знание людей меня не подводят...» Но я, по крайней мере, со своей стороны чувствовал, что эти его опасения весьма маловероятны.

Он уже уходил прочь, и тут я вдруг – гоп-ля! – увидел Невезучего, который, будто чертик на пружине, вылетел из окружавшей Эксперта толпы, галопом обогнал того и даже загородил ему дорогу. Видя, как он возбужден и какая у него решимость на лице, я даже подумал, что уж сейчас-то он точно обратится к нему напрямик, не так, как в таможне. Но в этот момент Невезучий едва не налетел на высокого, плотного человека с повязкой, который как раз шел со списком и карандашом в руках. Тот, едва увернувшись, остановился, отпрянул, оглядел его с головы до ног, нагнулся к нему и спросил что-то; что было потом, я не знаю, потому что как раз возле нас появился Роза и сказал: «Братцы, наша очередь».

Потом помню лишь, что, когда мы с ребятами неторопливо брели в глубь кирпичного завода, к нашему месту обитания, стояло какое-то особенно мирное, теплое летнее предвечерье; небо над холмами уже розовело: близился закат последнего нашего дня на родине. В другой стороне, там, где тек Дунай, над дощатым забором я увидел движущиеся крыши вагонов: это проходил, согласно расписанию, пригородный поезд; я ощущал усталость, но в то же время (вполне естественно после того, как мы записались на отправку) своего рода нетерпеливое любопытство: что нас ждет завтра? Ребята в общем и целом выглядели довольными. Невезучий каким-то образом затесался в нашу компанию и – с некоторым торжеством в глазах, но в то же время и немного вопрошающе

– заявил: он тоже в списке. Мы одобрительно закивали, и я видел, что ему это приятно; но потом, занятый своими мыслями, я перестал прислушиваться к нему. В этом месте, в отдаленных закоулках, кирпичный завод выглядел спокойнее, тише. Хотя и здесь собирались группы людей, обсуждая новости и советуясь, как поступить, однако особого возбуждения я не замечал: кто-то уже располагался на ночлег, кто-то ужинал, другие стерегли свои пожитки или просто сидели молча в ожидании вечера. Мы как раз проходили мимо одной супружеской пары. Я уже много раз видел их и хорошо запомнил. Жена была маленькой, хрупкого телосложения, с тонкими чертами лица; муж, худой, в очках, со щербатым ртом, вечно бегал и хлопотал, вечно к чему-то готовился, и лоб у него был постоянно взмокший от пота. Сейчас, сидя на земле, он, при суетливой помощи жены, торопливо собирал вещи, связывая их ремнем в один большой узел; он был по горло занят своей работой, и ничего его больше не интересовало. Невезучий, видимо, их знал: он остановился у мужчины за спиной и, постояв

немного, спросил: «Вы, значит, тоже решили ехать?» Муж, весь потный, бросил назад и вверх быстрый взгляд, жмурясь под очками и кривя лицо от вечернего солнца, и ответил с вопросительной интонацией: «Так ведь надо же ехать или как?..» Ответ его мне показался столь же в конечном счете истинным, сколь и простым.

Отправляли нас на следующий день, рано утром. Погода стояла великолепная; поезд, составленный из кирпично-красных товарных вагонов с задвигающимися дверьми, отходил почти от самых ворот, по ветке, которая где-то вливалась в пригородную железную дорогу. В каждом вагоне располагалось по шестьдесят человек вместе с поклажей; ну и тут же сложены были дорожные припасы людей с повязками: горы хлеба, большие банки мясных консервов, что, в наших глазах, глазах бывших обитателей кирпичного завода, было очень большой ценностью, не могу не признать. Но я еще со вчерашнего дня замечал, с каким вниманием, предупредительностью, даже, я бы сказал, с известной долей почтения все относились к нам, тем, кто отбывает в Германию; и изобилие это тоже, возможно, было – такое у меня возникло ощущение – чем-то вроде награды. Даже жандармы, что стояли вокруг – с ружьями, угрюмые, застегнутые на все пуговицы, – словно бы охраняли какой-то ценный и соблазнительный груз, к которому сами, однако, не могли прикоснуться: думаю, из-за того, скорее всего, что груз этот уже перешел во владение к более могущественным хозяевам: немцам. Двери вагонов задвинули, и слышно было, как снаружи по ним чем-то стучали: видимо, подгоняли засовы; потом – сигналы, свистки, крики железнодорожников, толчок: поезд тронулся. Мы с ребятами расположились довольно удобно, заняв, сразу после посадки, переднюю часть вагона, с двумя довольно высоко расположенными, да еще и забранными колючей проволокой отверстиями в форме окон. Вот только скоро в нашем вагоне возник вопрос о воде; а вместе с ним – и о продолжительности предстоящей дороги.

Вообще, о поездке в целом я не много могу рассказать. Точно так же, как вначале в таможне, потом на кирпичном заводе – здесь, в вагоне, надо было каким-то образом убивать время. Да, здесь это получалось, пожалуй, труднее, поскольку условия были, само собой, другие. С другой стороны, здесь у нас было сознание цели, и мысль о том, что каждый километр проделанного пути, пускай проделанного невыносимо медленно, в утомительной тряске, долгих стоянках, раздражающих толчках во время маневрирования, к этой цели нас все-таки приближает, – мысль эта в какой-то мере помогала переносить трудности и невзгоды. Наша компания тоже старалась не терять терпения. Розы не уставал

подбадривать нас: ничего, братцы, как только прибудем, тут же все останется позади. Многие поддразнивали Сутенера – из-за одной девушки, которая находилась здесь же (как ребята предполагали) вместе со своими родителями: Сутенер познакомился с ней еще на кирпичном заводе, а тут – особенно в первое время – часто исчезал, чтобы с ней повидаться, в глубине вагона, и у нас об этом ходило много всяческих разговоров. С нами был и Курилка, и даже здесь из его карманов время от времени появлялись щепоть какого-то подозрительного, рассыпающегося в пыль крошева, лоскуток грязной бумаги и спичка, к трепетному огоньку которой он тянулся с жадностью хищной птицы, иногда даже ночью. От Мошковича (со лба его, по очкам, по широкому носу, по толстым губам, постоянно текли ручейки пота, смешанные с грязью, – как, кстати, и у всех прочих, как и у меня, само собой), да и от других ребят даже на третий день случалось порой услышать шутливое слово, веселую реплику, а Кожевник, хотя и с трудом ворочая языком, отпускал иногда вялую остроту. Не знаю уж, каким образом кому-то из взрослых удалось выведать, что конечный путь нашего путешествия – некий населенный пункт под названием

Вальдзее[2]; когда я страдал от жажды или от жары, уже само обещание, содержащееся в этом слове, сразу же приносило облегчение. Тем, кто жаловался на тесноту, многие – с полным правом – напоминали: не забывайте, в следующем транспорте будет в вагоне уже по восемьдесят человек. Да и вообще, если подумать, знавали мы тесноту и похуже: например, в конюшне жандармерии, где задачу, как разместиться, мы смогли решить, только договорившись, что все сядут на землю по-турецки. В поезде сидеть было все-таки удобнее. К тому же, если так уж хотелось, я мог и встать, и даже сделать несколько шагов – скажем, по направлению к параше, место которой было в правом заднем углу вагона. Сначала мы было приняли решение, что

пользоваться ею будем только по малой нужде. Но что делать: по мере того как шло время, многие из нас вынуждены были признать, что природа сильнее, чем любые наши договоренности, и соответственно с этим и поступали: это относится и к нам, ребятам и мужчинам, и, понятное дело, к женщинам, само собой.

Жандарм тоже в конечном счете больших неприятностей нам не причинил. Был момент, когда он нас слегка испугал: его лицо внезапно возникло в левом окошке, как раз над моей головой, да он еще и фонариком посветил внутрь, потому что был уже поздний вечер, даже, скорее, ночь после первого дня пути, когда мы в очередной раз долго где-то стояли. Однако скоро выяснилось, что привели его к нам вполне добрые намерения. «Люди, – крикнул

он, – мы на венгерской границе!» Только это он и хотел нам сообщить. А потом призвал нас, даже, пожалуй, скорее попросил отдать ему, если у кого-то из нас еще оставались деньги или другие ценности. «Там, куда вы едете, – рассуждал он,

– это вам больше не понадобится. То, что у вас еще есть, немцы все равно отберут, – добавил он. – Так что, – продолжал он, стоя у оконного отверстия,

– пускай лучше попадет в венгерские руки!» Потом, после короткой паузы, которая показалась мне не лишенной некоторой торжественности, он (тут его голос стал почти теплым, в нем зазвучали доверительные интонации и готовность все забыть и простить) добавил: «В конце концов, вы ведь тоже венгры!» В ответ откуда-то из глубины вагона – после некоторого перешептывания, вроде бы даже спора – донесся голос, низкий голос мужчины, который, признав справедливость этого довода (в самом деле, в конце концов.. .), выдвинул условие: дескать, хорошо бы в обмен получить немного воды; жандарм и на это был готов, хотя сказал: «несмотря на запрет». Однако в итоге они так и не пришли к согласию, поскольку обладатель низкого голоса желал сначала заполучить воду, а жандарм – ценности, и ни один не хотел уступать. Наконец жандарм очень рассердился. «Жида паршивые, вы даже в самых святых вопросах выгоду ищете!» – прозвучало его замечание. И голосом, сдавленным от возмущения и отвращения, он высказал пожелание: «Подышайте тогда без воды!» Кстати говоря, его слова частично сбылись; так, во всяком случае, говорили в нашем вагоне. Факт тот, что где-то с середины второго дня все мы, и я в том числе, не могли не слышать пронзительных воплей, долетавших к нам из следующего за нами вагона; это было не очень-то приятно. Говорили, там едет какая-то больная старуха и она, судя по всему, сошла с ума, причем, сомневаться тут не приходится, от жажды. Объяснение выглядело правдоподобным. Только сейчас я убедился в правоте тех, кто уже в самом начале пути говорил: как удачно, что в наш вагон не попали ни маленькие дети, ни старики, ни, надо надеяться, больные люди. В первой половине третьего дня старуха наконец замолчала. У нас стали говорить: она умерла, потому что ей так и не дали воды. Но мы ведь знали: она была больная и старая, так что все, и я в том числе, случай этот сочли в конечном счете вполне естественным.

Могу со всей уверенностью утверждать: долгое ожидание не способствует хорошему настроению, – в этом, по крайней мере, я мог лишний раз убедиться, когда мы наконец действительно прибыли на место. Возможно, правда, я просто слишком устал; ну и, наверное, то напряжение, с которым все мы ждали этого собы-

тия, заставило меня в какой-то степени забыть в конце концов, что мы у цели; в общем, я как-то ощущал скорее равнодушие, чем радость. Да и самый момент прибытия прошел словно мимо меня. Я вспоминаю, что внезапно проснулся: должно быть, из-за пронзительного воя сирен; слабый свет, сочившийся в окна и щели, означал, что наступает рассвет четвертого дня. Немного болела поясница, в том месте, где спина соприкасается с полом. Поезд стоял, как во многих случаях и до этого, а при воздушной тревоге – всегда. У окон толпились люди – тоже как всегда во время стоянки. Каждому казалось, что он видит что-то новое и необычное. Наконец и я дождался своей очереди у окна – но ничего не увидел. Заря была прохладной и пахла свежестью, над просторными полями стоял сизый туман; потом, неожиданно, словно звук трубы, откуда-то из-за наших спин возник четкий, тонкий, красный луч, и я понял, что вижу восход солнца. Это было красиво и в общем даже интересно: дома я в такой ранний час обычно спал. Еще я разглядел, прямо перед нами, немного левее, какое-то строение: то ли захолустный полустанок, то ли предвестие какого-то большого вокзала. Строение было маленьким, серым и пока совершенно безлюдным, с узенькими закрытыми окнами, с комично крутой и высокой крышей, такой же, какие я видел в этих краях и вчера; в брезжащем полумраке строение на моих глазах обрело более четкие контуры, из серого стало лиловым, потом и окна блеснули красноватым блеском, отразив упавшие на них первые рассветные лучи. Другие тоже заметили домик, да и я сообщил о нем тем, кто стоял, любопытствуя, за нами. Те спросили, нет ли там доски с названием станции. И действительно, в слабом утреннем свете, на торцовой стене домика, обращенной туда, откуда мы прибыли, под крышей виднелись даже два слова, написанные причудливо изломанными, угловатыми готическими немецкими буквами и соединенные готической же черточкой с двойной волной: «Auschwitz-Birkenau». Но что касается меня, тщетно я рылся в поисках этого названия в памяти; не больше знали и остальные. Я сел на место: следующие тоже просили пустить их к окну; к тому же час был ранний, мне хотелось спать, и вскоре я задремал.

Прошло какое-то время; меня разбудили суета и шум. Солнце стояло уже высоко и сияло вовсю. Поезд снова двигался. Я спросил ребят, где мы; они ответили: пока там же, только что тронулись; видимо, толчок меня и разбудил. Но впереди, добавляли они, явно что-то маячит: то ли завод, то ли что-то вроде поселения. Через минуту те, кто был возле окон, сообщили – да я и сам мог это заметить по беглой смене освещения, – что мы проехали под какой-то аркой или воротами. Еще минута, и поезд остановился;

наблюдатели возбужденно доложили, что видят станцию, людей, военных. Многие кинулись собираться, застегиваться; иные, особенно женщины, принялись наспех приводить себя в порядок, причесываться, оглаживать на себе измятое платье. Снаружи доносился, все приближаясь, металлический грохот, скрежет открываемых дверей, беспорядочный гам высыпающихся из вагонов людей, и теперь я уже действительно вынужден был убедиться: мы прибыли в пункт назначения. Само собой, я был рад этому; но рад – это я тоже чувствовал – не так, как был бы рад, прибудь мы сюда, скажем, вчера или тем более позавчера. Потом тяжелый инструмент загрохотал по металлическому засову на нашем вагоне, и кто-то (скорее это были несколько человек) откатил тяжелую дверь в сторону.

Сначала я услышал их голоса. Говорили они на немецком (или очень похожем на немецкий) языке; причем говорили все сразу. Насколько я мог разобрать, они хотели, чтобы мы высаживались. Однако вместо этого, как мне показалось, они сами влезли в вагон, толкая нас и протискиваясь меж нами; пока что я ничего не мог понять. Но уже разнесся слух, что чемоданы, узлы – все должно оставаться в вагоне. Потом – объясняли, переводили и передавали друг другу люди вокруг меня – каждый, само собой, получит свою собственность в целостности и сохранности, но прежде вещи нужно дезинфицировать, нас же ждет баня; в самом деле, помыться уже было самое время, я и сам так считал. Тут эти люди подошли ближе, и я наконец разглядел их в сумятице. Разглядел – и поразился: в конце концов я ведь впервые в жизни видел – во всяком случае, так близко – настоящих заключенных, одетых в полосатую робу, какую положено носить наказанным за свои злодеяния преступникам, и круглую шапку на стриженной наголо голове. В испуге я даже, само собой, немного отпрянул назад. Некоторые из них отвечали на вопросы, другие оглядывали вагон, третьи, с навыками бывалых носильщиков, уже сгружали багаж – все это с каким-то странным, лисьим проворством. У каждого из них на груди, кроме обычного для арестантов номера, нашит был желтый треугольник; мне, само собой, было не так уж трудно разгадать, что означает этот цвет, но в первый момент нашивка вызвала у меня недоумение: за время пути я как бы немного забыл обо всех этих делах. Лица их тоже не слишком внушали доверие: оттопыренные уши, торчащие носы, маленькие, запавшие, с хитрым блеском глаза. В самом деле, они во всех отношениях выглядели евреями, казались подозрительными и совершенно чужими. Увидев нас, подростков, они, я заметил, заволновались – и принялись быстро, с каким-то затравленным выражением, озираясь, шептать нам что-то. И тут я сделал удивительное

открытие: евреи, оказывается, говорят не только на иврите, как я до сих пор считал. «Редс ди

идиш; редс ди идиш; редс ди идиш?»[3] – постепенно разобрал я их вопрос.

Ребята, и я в том числе, ответили им, само собой: «Nein[4]». Я видел, они не очень этим довольны. Тогда – зная немного немецкий, я легко это понял – они все вдруг очень заинтересовались нашим возрастом. «Vier-zehn,

fiinfzehn[5]», – отвечали мы им, в зависимости от того, кому сколько исполнилось. Они сразу яростно затрясли головой, замахали руками, всем

своим видом выражая протест и негодование. «Зешцайн[6], – шептали со всех

сторон, – зеш-цайн». Я удивился – и даже спросил одного: «Warum?»[7] «Willst du arbeiten?» – хочу ли я работать, спросил он в ответ, устремив взгляд своих глубоко ушедших, каких-то пустых глаз в мои глаза. Я сказал: «Natürlich», то есть: конечно, само собой; в конце концов я ведь для этого и приехал, если подумать. Тут он схватил своими желтыми, костлявыми, жесткими руками меня за плечи, и не просто схватил, но еще и встряхнул

основательно, повторяя: «Зешцайн... ферштайст ди?.. зешцайн!..[8]» Я видел, он всерьез рассержен: это ему, видимо, очень важно; и после того как мы быстро перекинулись парой слов с ребятами, я хоть и с некоторой усмешкой, но согласился: ладно, пускай будет шестнадцать. И еще: что бы нам ни говорили, среди нас не должно быть братьев, а особенно – тут я совсем

изумился – близнецов; ну а самое главное: «Всем работать, чтоб никаких усталых, никаких больных». Все это я узнал от них за ту минуту-другую, пока в толкотне продвигался со своего места до двери вагона, где наконец спрыгнул на землю, в солнечный свет, на свежий воздух.

Прежде всего я увидел перед собой огромное плоское пространство, что-то вроде низины. Я даже зажмурился от этого неожиданного простора, от этой слепящей, бескрайней, сияющей белизны небосвода. Но времени, чтобы хоть чуть-чуть оглядеться, у меня не было; гам, суета, выкрики, непонятные фрагменты событий, призывы строиться – все это обрушилось на меня сразу и вдруг. Женщинам – донеслось до меня – придется на какое-то время расстаться с мужчинами (в самом деле, не вместе же нам мыться в бане); людей пожилых, больных, матерей с маленькими детьми, а также тех, кого чрезмерно утомила дорога, недалеко отсюда ждут грузовики. Все это нам объясняли другие заключенные. Я, однако, заметил, что здесь, на открытом месте, их постоянно держат в поле зрения, управляя хаосом четкими жестами рук, нем-

цы-военные в зеленых фуражках, в мундирах с зелеными воротниками; увидев их, я даже почувствовал некоторое облегчение: аккуратные, подтянутые, чисто выбритые, они олицетворяли в этом столпотворении незыблемость и порядок. Многие взрослые из нашего вагона сразу дали нам совет (и я не мог с ними не согласиться): надо стараться во всем следовать указаниям, не злоупотреблять расспросами, не тянуть с прощанием – словом, показать немцам, что мы тут люди разумные, а не какое-то бестолковое стадо. О дальнейшем мне трудно сказать что-либо определенное: меня влек, тащил, нес куда-то с собой бурлящий, словно каша на сильном огне, людской поток. Позади себя я долго слышал пронзительный женский голос, сообщавший кому-то, что «маленькая сумка» осталась у обладательницы голоса. Передо мной же ковыляла, спотыкаясь и все время отставая, растрепанного вида старуха, а молодой человек втолковывал ей: «Будьте послушной, мама, мы ведь все равно скоро встретимся. Nicht wahr, Herr Officier, – обратился он доверительным тоном к немцу, который, со сдержанной, немного высокомерной улыбкой, улыбкой взрослого в толпе детей, как раз находился поблизости, раздавая указания, —

wir werden uns bald wieder...[9]» Тут меня отвлек от них истошный детский вопль: чумазый, но с красивыми кудрявыми волосами и одетый, как манекен в витрине, малыш, дергаясь и извиваясь, вырывался из рук белокурой женщины – его мамыши, по всей видимости. «Хочу к папе! К папе хочу!» – орал он, топая ножками в белых туфельках по белой гальке на белой пыльной дороге. Я старался не отставать от нашей компании, ориентируясь на поднятую руку и призывные возгласы Розы; в это время сквозь наше шествие, расталкивая на своем пути всех, в том числе и меня, промчалась, в том направлении, где

должны были стоять машины, объемистая дама в летнем цветастом платье без рукавов. Потом какое-то время передо мной мелькал, бестолково бегая то туда, то сюда, наступая всем на ноги, низенький старикашка в черной шляпе и черном галстуке; встревоженно озираясь, он то и дело принимался кричать: «Илонка! Илонка!» Потом я увидел высокого, со скуластым лицом молодого мужчину и женщину с длинными черными волосами: прижавшись друг к другу губами, лицом, всем телом, они стояли, мешая идти другим, вызывая беглое раздражение на лицах,

– пока человеческий поток не оторвал наконец женщину (или скорее еще девушку) от ее спутника, унес и поглотил, хотя я и на расстоянии видел еще, как из людской массы с усилием поднималась и махала, прощаясь, ее рука.

Все эти лица, голоса, впечатления, сцены, мелькавшие передо мной и под конец слившиеся в нечто единое, странное, пестрое, напоминавшее, я бы сказал, какую-то шутовскую процессию, немного выбили меня из равновесия; у меня слегка кружилась голова, и я уже не в состоянии был уделять достаточно внимания другим, возможно, более важным вещам. Например, я бы не мог сказать, результатом чьих усилий: наших ли собственных, или немцев в военной форме, или заключенных, назначенных нас опекать, или, может быть, общих – было то, что в конце концов разношерстная толпа высадившихся из вагонов людей каким-то образом превратилась в длинную колонну, уже из одних мужчин по пять человек в ряду; в одном из этих рядов был и я. Колонна двигалась небыстро, но равномерно; где-то впереди – еще раз подтвердили нам

– нас ожидает баня; но прежде, как я узнал, всем предстоит пройти медосмотр. Причину тоже упомянули, да мне и самому, конечно, нетрудно было понять: речь идет о своего рода отборе, о проверке, годен ли ты для работы.

А пока я немного перевел дух. Рядом, впереди, позади шагали наши ребята, иногда мы перекидывались парой слов, а то и просто кивали друг другу: мол, порядок, мы все тут. Было жарко. На ходу можно было немного оглядеться, попытаться понять, где мы, собственно говоря, оказались. Станция выглядела аккуратной. Под ногами скрипел обычный в таких местах щебень, в стороне зеленел газон, в траве пестрели какие-то желтые цветы, а дальше виднелось уходящее за горизонт, безупречно белое асфальтовое шоссе. Я заметил, что шоссе это от начинающейся за ним необозримой территории отделено одинаково изогнутыми вверху столбами, между которыми металлически поблескивают нити колючей проволоки. Нетрудно было догадаться: где-то там и живут, по всей видимости, заключенные. Тут у меня впервые мелькнула мысль: любопытно было бы все же узнать, за что их все-таки наказали.

Оглядевшись, я снова поразился безграничности этой равнины. Правда, из-за множества людей вокруг, да еще в этом ослепительном сиянии солнца, по-настоящему точное представление о ней вряд ли можно было получить: я едва различал вдали какие-то приземистые строения, кое-где высокие сооружения, похожие на охотничьи засады, какие устраивают на высоких деревьях, выступы, башни, трубы. Ребята и взрослые вокруг меня смотрели куда-то вверх: я тоже поднял голову и увидел в небе что-то продолговатое, неподвижное, с металлическим блеском, погруженное в белое марево безоблачного, но все же скорее блеклого неба. В самом деле, это был цеппелин. Догадки, звучащие поблизости

от меня, сводились к тому, что он, скорее всего, служит для предупреждения о воздушных налетах; и тут мне действительно вспомнился вой сирены на рассвете. Правда, на лицах немецких офицеров, которые находились вокруг, не было и тени растерянности или страха. Я вспомнил, как мы дома, заслышав сирену воздушной тревоги, бежали в укрытие, и теперь, когда наблюдал это высокомерное спокойствие, это сознание собственной неуязвимости, мне становилась понятней та своеобразная почтительность, с которой у нас обычно говорили о немцах. Лишь сейчас я заметил у военных, что были поблизости, изображение двойной молнии на воротнике и понял, что они, по всей очевидности, принадлежат к знаменитым частям СС, о которых я много слышал и раньше. Должен сказать, они ничуть не показались мне кровожадными: не спеша, прогулочным шагом ходили они вдоль колонны, отвечали на вопросы, кивали, некоторых из нас даже приветливо похлопывали по спине или по плечу.

И еще кое-что я заметил в эти минуты, пока мы двигались или стояли без дела и ждали чего-то. Дома, само собой, я тоже часто видел немцев в военной форме. Но там они всегда торопились, всегда – безупречно одетые и застегнутые на все пуговицы, замкнутые, деловые. Здесь же они держались по-другому, более свободно, более – так мне показалось – по-домашнему, что ли. Я даже увидел кое-какие различия между ними: фуражки, сапоги, мундиры у кого-то были более строгими и начищенными, а на ком-то сидели чуть-чуть свободней, как бы для повседневной работы. У каждого на поясе было оружие; в общем-то для солдата это, конечно, естественно. Но многие из них держали в руках еще и палку, вроде обычной трости с набалдашником, и это несколько удивило меня: ведь, в конце концов, все они – люди в расцвете сил, с безупречной строевой выправкой и твердой походкой. Но потом я разглядел эти предметы получше, с близкого расстояния. Я обратил внимание, как один из них, прямо передо мною, но почти спиной ко мне, в один прекрасный момент завел эту трость за спину и, держа ее обеими руками за концы, стал, как бы от нечего делать, сгибать ее. Двигаясь вместе с очередью, я подходил к нему все ближе. И тут обнаружил, что предмет этот – не из дерева, а из кожи, и вообще это не трость, а хлыст. Мне стало капельку не по себе, когда я это понял, – однако пока я не замечал, чтобы они пускали его в ход; да и вокруг нас ведь в конце концов много людей в полосатых робах – закоренелых преступников, этого я тоже не мог не видеть.

Тем временем до нас то и дело доносились какие-то объявления – я, честно говоря, не очень к ним прислушивался; один раз, помню, приглашали выйти из строя тех, кто владеет профессией

слесаря-механика, потом – близнецов, людей с физическими недостатками; спрашивали даже – это вызвало в колонне веселый шумок, – нет ли среди нас лилипутов; потом искали детей: прошел слух, что с ними будут заниматься особо, они будут учиться, а не работать, и вообще их ждут всяческие поблажки. Иные взрослые в шеренгах многозначительно кивали нам: дескать, не упускайте такого случая. Но я еще помнил, что советовали нам в вагоне заключенные, да и вообще мне хотелось, само собой, работать, а не жить как ребенок.

А пока мы медленно, но верно двигались вперед. Я заметил: заключенных в полосатых робах и солдат вокруг нас вдруг стало больше. Ряды наши, по пять человек в каждом, в какой-то момент превратились в вереницу. Потом нам приказали снять пиджаки и рубашки, чтобы предстать перед врачом обнаженными до пояса. Темп движения, я чувствовал, тоже стал ускоряться. Тут я увидел впереди две группы. Справа – группа побольше, весьма пестрая по составу; слева – поменьше и как-то приятнее на вид, причем в ней были уже некоторые ребята из нашей компании. Именно эти, в левой группе, выглядели – по крайней мере, в моих глазах – пригодными для работы. Тем временем я продвигался, причем все быстрее, прямо туда, где, в сутолоке и суете, наметился некий стабильный пункт – это был, насколько я мог разглядеть, офицер в безупречном мундире и в характерной для немецких военных фуражке с очень высокой тульей; потом я успел удивиться только тому, что очередь до меня дошла так быстро.

Сам медосмотр вообще-то занимал приблизительно две-три секунды. Как раз передо мной шел Мошкович; однако врач сразу направил его – подкрепив кивок еще и вытянутым пальцем – в другую сторону. Я еще слышал, как Мошкович

пытался объяснить: «Арбайтен... Зексцен...[10]»; но откуда-то сбоку за ним вытянулась рука, и я шагнул на его место. Меня, я видел, врач осматривал основательнее, серьезным, внимательным, оценивающим взглядом. Я расправил плечи, выпрямился, чтобы показать, какая у меня грудная клетка, и даже, помню, улыбнулся слегка – чтобы, наверное, подчеркнуть, что я не Мошкович. К врачу я сразу почувствовал доверие, поскольку он, с его мужественным, продолговатым, чисто выбритым лицом, довольно тонкими губами, доброжелательным взглядом голубых или серых, во всяком случае, светлых глаз, очень располагал к себе. Я хорошо его разглядел, пока он, взяв меня руками в перчатках за щеки, большими пальцами оттянул мне вниз кожу под глазами – этот прием, которым пользуются врачи, был мне знаком еще из дома. Потом тихим, но очень четким голосом, выдающим культурного человека, спросил:

«Wieviel Jahre alt bist du?[11]» Спросил так, как бы между прочим.

«Sechszehn[12]», – сказал я. Он слегка кивнул – но словно бы скорее на ожидаемый ответ, чем на соответствие этого ответа истине; во всяком случае, так мне тогда показалось. Кроме того, у меня возникло беглое ощущение, пускай, может быть, и ошибочное: в глазах его появилось некое удовлетворение, в какой-то мере почти облегчение; я подумал, что, возможно, понравился ему. И тогда, одной рукой, еще касавшейся моего лица, он подтолкнул меня налево, через дорогу, к тем, кто был признан годным; а второй рукой еще и махнул в том же направлении. Ребята уже ждали меня, смеясь от радости. И, лишь увидев эти сияющие лица, я, пожалуй, осознал по-настоящему ту разницу, что действительно отделяла нашу группу от той, другой: на нашей стороне был успех, если я правильно чувствовал.

Я надел рубашку, обменялся парой слов с ребятами, и мы стали ждать, что будет дальше. Отсюда все, что происходило на другой стороне дороги, виделось мне теперь по-иному. Людской поток тек нескончаемой лентой, вливался в узкое русло, ускорялся, потом, дойдя до врача, раздваивался. Ребята из нашей компании прибывали один за другим, и теперь я тоже, естественно, участвовал в их приеме. На некотором расстоянии я заметил другую колонну: это были женщины. Вокруг них тоже были солдаты, заключенные,

перед ними тоже стоял врач, и все происходило там точь-в-точь как у нас; правда, их не заставляли снимать верхнюю одежду, и это, само собой, было вполне понятно, если подумать. Все вокруг двигалось, все функционировало, каждый был на своем месте и выполнял свое дело, весело, точно, как хорошо смазанный механизм. На многих лицах я видел улыбки, то несмелые, то довольно самоуверенные, но не скептические, не злорадные – ага, дескать, что я говорил, – и, в сущности, у всех одинаковые: примерно такие же, какую я пару минут тому назад ощущал и на своем лице. С такой же улыбкой обратилась с каким-то вопросом к проходившему мимо офицеру, придерживая на груди отвороты белого плаща, смуглая, кажущаяся отсюда весьма милостивой женщина с сережками в форме колец; и с такой же улыбкой как раз шагнул к врачу мужчина-брюнет с красивым, выразительным лицом; он тоже оказался пригодным. Скоро я начал разбираться и в действиях врача. Подошел старик – дело ясное: та сторона. Мужчина помоложе – сюда, к нам. Следующий, с толстым животом, тянулся и выпячивал грудь изо всех сил – вроде бы тоже понятно, тут тянись не тянись, все напрасно; но нет, врач все же послал его в нашу группу, и я был этим не очень доволен, поскольку, на мой

взгляд, человек этот был скорее пожилым, чем молодым. И еще на одну вещь я обратил внимание: мужчины в подавляющем большинстве были давно не бритыми, что производило не самое лучшее впечатление. Глядя на них глазами врача, я не мог не сделать вывод, что в этой колонне слишком большой процент стариков или по другой какой-либо причине ни на что не годных людей. Один – слишком тощ, другой – слишком толст; еще одного, увидев дергающееся веко и гримасу, в которую непрерывно складывались его губы и нос, делая его похожим на приноживающегося кролика, я расценил как нервнобольного – хотя вообще-то и он с полной готовностью, как человек, сознающий свой долг, улыбался, пока, странно прихрамывая на обе ноги, старательно ковылял в группу непригодных. Или вот еще: пиджак, рубашка висят на локте, подтяжки спущены на брюки, на плечах и на груди хорошо видна дряблая, уже отвисшая кожа. Но когда он подошел к врачу – тот, само собой, сразу показал ему место среди непригодных, – на его заросшей густой щетиной, как поле сорняками, физиономии появилось некое особенное выражение, а на высохших, потрескавшихся губах возникла все та же и тем не менее чем-то более знакомая улыбка, которая словно бы что-то шевельнула в моей памяти; мне показалось, человек этот что-то намеревается сказать врачу. Однако тот смотрел уже не на него, а на следующего, и тут чья-то решительная рука, та же, надо думать, что и в случае с Мошковичем, оттащила его в сторону. Человек дернул плечом и обернулся, на лице его было возмущенное и негодующее выражение; да-да, это был Эксперт, я не ошибся.

Потом мы ждали еще пару минут. Очередь к врачу была еще очень длинной, а здесь, в нашей группе, состоявшей из наших ребят и взрослых мужчин, собралось, как я прикинул, человек сорок; и тут нам сказали: идем в баню. Возле нас – я даже не заметил, откуда он взялся – появился солдат, низенький, уже в летах, с добродушной физиономией, с большим ружьем; на мой взгляд, он был рядовым. «Los, ge' ma' vorne!» – «Пошагаем вперед!» – скомандовал он; или, во всяком случае, произнес что-то в этом роде, не совсем по правилам, прописанным в учебниках грамматики, как мне показалось. Как бы там ни было, для моих ушей эта команда прозвучала приятно: мы с ребятами ощущали уже некоторое нетерпение, хотя, если говорить честно, мечтали не столько о мыле, сколько, конечно же, о воде. Дорога вела через оплетенные колючей проволокой ворота в ограде куда-то в глубь территории, где, надо думать, должна была находиться и баня. Мы шагали свободными группами, неторопливо, болтая между собой о том о сем; за нами, молча, с равнодушным видом, брел все тот

же солдат. Под ногами у нас снова была широкая дорога с безупречным белым покрытием, перед нами простиралась равнина, немного однообразная, несколько утомляющая глаз; воздух над ней подрагивал от зноя и ходил зыбкими волнами. Я уже стал беспокоиться: не слишком ли далеко нам придется идти; но, как вскоре выяснилось, баня от станции находилась всего минутах в десяти неторопливой ходьбы. То, что я за это короткое время успел разглядеть вокруг, в целом произвело на меня хорошее впечатление. Особенно мне понравилось футбольное поле на большой площадке справа от дороги. Зеленый газон, белые ворота, белая, тщательно прочерченная разметка – все было на месте, все выглядело свежим, манящим, в хорошем состоянии, в величайшем порядке. Мы даже поговорили с ребятами: ого, дескать, после работы хорошо будет здесь побегать, размяться. Еще больше радости нам доставило, когда чуть дальше, на левой обочине, мы увидели водопроводный кран: никакого сомнения, это была обычная колонка с рукояткой, которую нужно нажать, чтобы хлынула вода. И пускай рядом с ней табличка с

красной предостерегающей надписью сообщала: «Kein Trinkwasser[13]», – никого из нас в эту минуту она, конечно, остановить не могла. Сопровождавший нас солдат терпеливо ждал, пока мы напьемся, и я должен сказать, давно я не испытывал такого удовольствия от воды, – хотя во рту и остался от нее привкус какого-то химического вещества, щиплющий и тошнотворный. Дальше мы увидели и строения, те самые, которые я заметил еще со станции. В самом деле, они и вблизи выглядели странными: длинные, приземистые, неопределенного цвета, с каким-то вентиляционным или осветительным устройством, выступающим по всей длине крыши. Каждое строение было окружено дорожкой, наподобие садовой аллеи, посыпанной красным щебнем, а от шоссе отделено широкой полосой аккуратно постриженного газона; между домами же

этими я, испытав веселое удивление, увидел маленькие огороды с капустой и другой зеленью, и клумбы с пестрыми цветами. Все выглядело очень чистым, ухоженным, все радовало глаз: и я лишний раз убедился, что мы поступили правильно, когда на кирпичном заводе приняли решение в пользу поездки. Что-то, правда, меня немного смущало, и вскоре я понял что: вокруг строений не было никаких признаков движения, жизни. Но пожалуй, подумал я, так и должно быть: ведь те, кто здесь живет, сейчас, должно быть, на работе.

В бане (мы нашли ее, повернув налево, пройдя еще одни ворота из колючей проволоки и войдя в какой-то двор) нас тоже, как я понял, ждали. Сначала мы попали в помещение с каменным по-

лом – нечто вроде большого предбанника; тут нам заранее и охотно рассказали обо всем, что нам предстоит. Народу в помещении было уже набито битком; как я понял, все – люди с нашего поезда. Из чего можно было сделать вывод, что работа и здесь идет без перерыва, людей в баню приводят со станции партию за партией. Нам в помощь тут тоже был один заключенный, причем – я заметил – заключенный исключительно изысканного вида. Он, правда, тоже носил полосатую тюремную робу, но робу с высокими под-плечиками, приталенную, сшитую по самой последней, даже несколько вызывающей моде, к тому же тщательно отглаженную; да и голова у него была не обрита, черные волосы лежали в аккуратной прическе, как у нас, свободных людей. Он встретил нас у противоположной от входа стены, стоя; рядом с ним за столиком сидел немецкий офицер. Немец этот был низенький, добродушный на вид и очень толстый: живот у него начинался чуть ли не от горла, складки жира на шее почти закрывали воротничок, на морщинистом, желтом, безволосом лице едва видны были щелки заплывших глаз; он чем-то напоминал тех лилипутов, которых на станции пытались найти среди нас. Однако на голове у него возвышалась внушительная фуражка, а на столике красовался сверкающий новенький портфель, рядом с которым лежал сплетенный из какой-то белой кожи и, как я должен был признать, с большим вкусом сделанный бич – по всей видимости, его личная собственность. Все это я смог во всех подробностях рассмотреть в просветах между множеством голов и плеч, пока мы, вновь прибывшие, старались как-нибудь разместиться, рассредоточиться в помещении, и без того уже переполненном. Пока мы топтались, устраиваясь в предбаннике, заключенный вышел в противоположную дверь, потом быстро вернулся и что-то сообщил офицеру, доверительно склонившись почти к самому его уху. Немец, судя по всему, остался доволен тем, что ему сказали, и мы слышали его тонкий, пронзительно-сиплый, скорее детский или женский, голос, которым он дал какие-то указания своему помощнику. Тот, выпрямившись и подняв руку, обратился к нам, попросив «тишины и внимания», – и тут я впервые испытал то чувство, которое охватывает, когда вдруг услышишь на чужбине родную венгерскую речь, – об этом чувстве часто упоминают самые разные люди; итак, мы встретили тут соотечественника. Мне сразу стало немного жалко его: ведь нельзя было не видеть, что он – человек еще совсем молодой, неглупый и (пусть он отбывал наказание как преступник) внушающий симпатию; я бы с удовольствием расспросил его, из каких он мест и за что получил наказание. Однако пока что он сообщил, что должен объяснить нам – по поручению «господина обер- шарфюрера», – как нам

следует себя вести. Если мы проявим готовность к сотрудничеству – чего от нас, кстати, и ожидают, добавил он, – все пройдет «быстро и гладко», и это прежде всего в наших интересах, а кроме того – он гарантирует, – отвечает и желаниям «господина оберга» – так он назвал офицера, немного сократив его официальный ранг, отчего тот прозвучал проще и, на мой взгляд, интимнее.

Затем мы услышали от него некоторые простые и, в данной ситуации, очевидные в общем-то вещи; пока он говорил, немец, обращая свое дружелюбное лицо с веселыми глазами то на него, то на нас, живо кивал, как бы удостоверяя (все-таки, в конце концов, с нами ведь разговаривает наказанный преступник) его слова. Мы, например, узнали, что в следующем помещении, так называемой «раздевальне», мы должны снять всю нашу одежду и аккуратно повесить ее на вешалки, которые мы там найдем. На каждой вешалке стоит номер. Пока мы моемся, одежду продезинфицируют. Видимо, нет нужды специально объяснять, заметил он, и, по-моему, совершенно справедливо заметил, – как важно, чтобы каждый хорошо запомнил свой номер. Нетрудно было понять и целесообразность того, что каждую пару обуви «рекомендуется» связать шнурками – «во избежание возможного перепутывания в дальнейшем», как пояснил он. Затем мы поступим в распоряжение парикмахеров, а там подойдет и черед мытья.

Однако сначала, продолжал он, пусть выйдут вперед те, у кого еще остались деньги, золото, драгоценные камни и любые другие ценности, и добровольно сдадут их «на хранение господину оберу», поскольку это последняя возможность, когда они «еще могут безнаказанно избавиться» от своих вещей. Тут он пояснил, что торговля, всякого рода купля-продажа, а следовательно, любая попытка пронести в «лагерь» ценные вещи «категорически запрещены»; «лагерь» – он употребил это новое для меня, но вполне понятное немецкое слово. После помывки каждого из нас «подвергнут просвечиванию», причем «специально для этой цели предназначенным рентгеновским аппаратом», – услышали мы затем, и офицер с явной радостью и недвусмысленным одобрением, которые выражались энергичными кивками, встретил слово «рентгеновский», которое, по всей очевидности, было понятно даже ему. Тут я подумал: стало быть, все-таки, видимо, правду сказал нам тот жандарм. Со своей стороны, добавил заключенный, он может нас заверить, что, если кто-то попытается тайно пронести в лагерь запрещенные предметы, ему грозит «самое суровое наказание», а мы все рискуем утратить хорошее отношение к себе со стороны начальства, так что подобные действия, на его взгляд, «нецелесообразны и бессмысленны». Хотя все это меня мало касалось, я согласился про себя, что он, скорее всего, прав.

Последовала недолгая тишина, которая, как мне показалось, к концу стала немного неловкой. Потом в передних рядах возникло движение: какой-то человек попросил дать ему возможность пройти, затем, подойдя к столу, положил перед офицером какой-то мелкий предмет и торопливо ушел обратно. Немец что-то сказал ему: слова прозвучали как похвала. Предмет – со своего места я не мог разглядеть, что именно это было, – он осмотрел, как бы бегло оценивая его взглядом, и сразу убрал в ящик стола. Снова возникла пауза, но уже короче, чем первая; потом – снова движение, и снова вышел кто-то; и потом люди, уже без перерыва, все смелее и все быстрее подходили к столу, кладя на него, на свободное пространство между бичом и портфелем, что-нибудь блестящее, звякающее или шуршащее. Все это – если не считать шагов, звуков, производимых предметами, и, изредка, короткими, пронзительными возгласами офицера, выражавшими одобрение и подбадривание, – протекало в полнейшей тишине. Я также заметил, что каждый раз, получая очередную вещь, немец сопровождал этот акт одной и той же процедурой. Даже если кому-то случалось положить перед ним сразу два предмета, он и в этом случае осматривал сначала один – иногда сопровождая осмотр одобрительным кивком, – выдвигал ящик стола, клал туда предмет и задвигал ящик, чаще всего животом, чтобы затем заняться следующей ценностью и в точности повторить все свои действия с первого до последнего. Я был совершенно ошеломлен: сколько всего оказалось еще у прибывших сюда – и это ведь после того, как нас обыскивали жандармы! Но и эта торопливость, эта внезапная решимость, овладевшая вдруг людьми, несколько удивили меня: они так легко расставались со своей собственностью – после того, как вроде бы заранее смирились со всеми заботами, со всем риском, неотделимым от обладания этими предметами. Потому-то, должно быть, почти у всех, возвращавшихся от стола, я видел на лицах некоторое смущение, некоторую торжественность, но в то же время в общем и целом и несомненное облегчение. Что ж, в конце концов, мы ведь стояли здесь на пороге новой жизни, и понятно, что это было, само собой, совсем другое дело, совсем не то, что в жандармерии. Весь этот эпизод, с начала и до конца, если быть точным, занял где-то три-четыре минуты.

О дальнейших событиях я не так уж много могу сказать: в сущности, все происходило в соответствии с тем, что нам заранее говорил заключенный. Открылась дверь, и мы попали в помещение, обставленное длинными скамьями с вешалками над ними. Сразу нашел я и номер – и несколько раз повторил его про себя, чтобы случайно не забыть. Связал я и свои башмаки, как советовал заключенный. Затем последовал большой зал с низким по-

толком, но зато ярко освещенный несколькими лампами; вокруг, вдоль стен, уже всюду поблескивали бритвы, жужжали электрические машинки, трудились парикмахеры – все сплошь заключенные. Я попал к одному из них, на правой стороне. Садись, сказал он

– по крайней мере, я так думаю, потому что языка его я не понимал, – и показал рукой на скамейку возле себя. И тут же поднес к моей шее машинку и повел ее вверх, состригая волосы – состригая совсем, наголо. Потом взял бритву, жестом велел мне встать, поднять руки – и немного поскреб под мышками. После чего, не говоря ни худого ни хорошего, сам сел передо мной на скамейку и, ухватив меня за самый чувствительный орган, сбрил оттуда все до последнего волоска, мое украшение, мою мужскую гордость, которая и появилась-то не так давно. Может быть, это глупо, но из-за этой утраты мне было даже как-то обиднее, чем из-за шевелюры на голове. Я был удивлен и даже немножко раздосадован; хотя и понимал, что смешно портить себе настроение из-за такого, в сущности, пустяка. Да и вообще я ведь видел, что другие, в том числе наши ребята, оказались в таком же положении; мы тут же стали поддразнивать Сутенера: ну, как теперь будет с девушками?

Но нас уже позвали дальше: следовала баня. В дверях очередной заключенный сунул в руку Розы, который шел как раз передо мной, маленький кусочек коричневого мыла и сказал, даже еще и на пальцах показал: это на троих. В помывочном зале под ногами была скользкая деревянная решетка, над головами

– сеть водопроводных труб с множеством душевых розеток. Внутри уже скопилось множество голых и, честное слово, не очень приятно пахнувших людей. Мне показалось любопытным, что вода – после того как все мы, и я в том числе, какое-то время безрезультатно искали какой-нибудь кран – пошла сама, совсем неожиданно. Струи были не слишком обильными, но температуру льющейся воды я нашел освежающе прохладной, как раз подходящей в такую жару. Прежде всего я вволю напился – опять ощутив тот самый привкус, что и перед этим, у колонки, – и уж потом понаслаждался немного игрой и покалыванием струй на коже. Отовсюду неслись веселые звуки: плеск, фыркание, довольные вздохи; светлые, беззаботные это были минуты. Мы с ребятами, глядя на наши лысые головы, немало потешались друг над другом. Мыло, как обнаружилось, не очень – то пенилось, к тому же в нем было много твердых частичек, царапающих кожу. Однако один полноватый человек поблизости от меня – спина, грудь его были покрыты курчавыми волосами, которые парикмахер, видимо, решил оставить как есть, – долго мылился этим мылом,

мылился торжественными, я бы сказал, в какой-то мере ритуальными движениями. Чего-то – кроме волос на голове, само собой – мне в нем, когда я смотрел на него, вроде бы не хватало. Приглядевшись, я заметил, что возле губ и на подбородке у него кожа белее, чем в других местах на лице, к тому же вся в свежих порезах. И тут я узнал его: это был раввин с кирпичного завода; значит, он тоже записался на работу. Без бороды он показался мне не таким внушительным: обычный человек с заурядной внешностью, разве что с большим носом. Он как раз усердно намыливал ноги – и тут вода, так же неожиданно, как пошла, прекратилась; раввин удивленно посмотрел вверх, потом опустил взгляд, и взгляд у него стал отрешенным, как у человека, который принимает к сведению решение, исходящее от высшей воли, понимает и смиренно склоняется перед ним.

Да я и сам не мог поступить иначе: нас уже выводили, а вернее, выталкивали, выдавливали из помывочной. Мы попали в плохо освещенное помещение, где еще один заключенный совал каждому – в том числе и мне – тряпицу величиной с носовой платок: как оказалось, полотенце, – предупредив: после использования вернуть. Другой заключенный неожиданно, исключительно быстрым и ловким движением мазнул мне чем-то вроде плоской кисточки голову, подмышки и все то же чувствительное место какой-то жидкостью подозрительного цвета; судя по тому, что она вызывала зуд и пахла остро и неприятно, это было какое-то дезинфицирующее средство. Потом мы попали в коридор с двумя освещенными окнами в стене и с пустым дверным проемом, ведущим в какую-то каморку: в окнах и в проеме стояло по заключенному, которые выдавали одежду. Я – так же, как все прочие – получил рубашку, когда-то, надо думать, голубую, с белыми полосками, фасона, модного, наверно, во времена наших дедушек: круглый вырез для головы, ни воротника, ни пуговиц; в другом окошке мне выдали кальсоны, тоже рассчитанные разве что на немощных стариков, с разрезом на щиколотках и шнурками-завязками, и, наконец, поношенную на вид холщовую робу, состоящую из штанов и пиджака, точную копию тех, что были надеты на заключенных, которых мы видели, с такими же сине-белыми полосами – то есть, как ни смотри, настоящую арестантскую робу; затем, в каморке с открытым дверным проемом, я уже сам выбирал себе пару обуви в куче странных, с деревянной подошвой и холщовым верхом башмаков, без шнурков, но с тремя кнопками сбоку,

– пару, которая, как я мог в спешке определить, вроде бы соответствовала моему размеру. Не забыть еще два кусочка серой ткани, – наверно, подумал я, это вместо носовых платков; ну и,

наконец, еще одну обязательную вещь: мягкую, круглую, потертую и поношенную арестантскую шапочку с полосами крест-накрест. Я было немного заколебался, надевать ли на себя это тряпье; но голоса, со всех сторон торопящие нас, и суетливые движения одевающихся вокруг людей – все подсказывало мне, что, если я не хочу отстать от других, медлить, не стоит. Штаны были мне велики, а пояса или чего-нибудь в этом роде не предусматривалось, и я, как мог, завязал их узлом; в связи с башмаками же выяснилось одно совершенно непредвиденное обстоятельство: деревянная подошва не гнулась. Исключительно для того, чтобы освободить руки, я надел на голову шапку. Ребята тоже были готовы; мы смотрели друг на друга и не знали, смеяться или удивляться. Впрочем, времени ни на то, ни на другое не было: мы вновь очутились на открытом воздухе. Не знаю, кто нами командовал и что вообще происходило; помню лишь, как что-то несло меня вперед, какая-то сила толкала, двигала в нужном направлении, и я, немного еще неуверенно в новой обуви, спотыкаясь, в облаке пыли и в сопровождении странных звуков – словно кого-то хлестали или хлопали по спине – шагал все вперед и вперед, сквозь раскрывающийся, потом замыкающийся, сливающийся в глазах, путающийся, перемешивающийся лабиринт новых дворов, новых ворот, новых проволочных ограждений и заборов.

5

Нет, пожалуй, на свете человека, который, попав в заключение, поначалу не удивлялся бы немного этой новой для него ситуации; так и мы с ребятами, оказавшись в конце концов в том дворе, куда нас привели после бани, какое-то время с удивлением разглядывали и только что не ощупывали друг друга. Один молодой человек поблизости от меня долго, старательно и как-то недоверчиво осматривал, оглаживал, ощупывал свою одежду, словно его крайне интересовало качество ткани. Потом он вдруг вскинул голову, словно что-то поняв и желая поделиться мыслью с остальными, но, увидев вокруг себя сплошь такие же робы и такие же растерянные лица, счел за лучшее промолчать, – во всяком случае, таково было в тот момент мое (возможно, ошибочное) ощущение. Несмотря на то что он был острижен наголо и одет в коротковатую для него, с его высоким ростом, лагерную робу, я узнал в нем, благодаря его скуластому лицу, того влюбленного, который всего час назад – столько примерно времени миновало с момента нашего прибытия до преобразования – с таким трудом выпустил из своих объятий черноволосую девушку. Об одном, однако, я здесь очень пожалел. Еще дома, помню, я наугад взял с полки одну книгу: она стояла не на самом видном месте, и кто знает, сколько времени пылилась там, нечитаная. Написал ее бывший каторжник, но я так и не прочитал ее до конца, потому что не очень-то был в состоянии следить за его мыслями; к тому же у персонажей были невыносимо длинные, чаще всего тройные имена, которые я был не в силах запомнить; ну и, если уж говорить честно, жизнь заключенных тогда меня ни капли не интересовала, а может быть, даже вызывала брезгливость; вот так я остался без знаний, которые сейчас, может быть, оказались бы мне очень и очень полезны. Из всей книги в памяти у меня отпечатались лишь, что автор, как он сам утверждает, куда лучше запомнил первые, то есть более давние, дни каторги, чем то, что было позже, а значит, ближе ко времени, когда он эту книгу писал. Тогда мне это показалось сомнительным, как бы даже немного надуманным. И все-таки, думаю, он написал чистую правду: ведь я и сам точнее всего помню именно первый день; в самом деле, куда точнее, чем следующие.

Поначалу я чувствовал себя в положении заключенного как бы гостем, что вполне объяснимо и отвечает, думаю, природе человека, его склонности к самообману. Двор наш, это залитое солнцем пространство, выглядел довольно голым; тут не было и намека ни на футбольное поле, ни на огородики, газон и цветочные

клумбы. Зато стоял дощатый барак без всяких украшений, снаружи напоминающий огромный сарай; по всей видимости, он и должен был стать нашим домом. Но войти в него, как я узнал, разрешается лишь в момент отхода ко сну. Перед ним и за ним тянулся длинный, уходящий в бесконечность ряд таких же барачков, слева – еще один, точно такой же ряд; расстояние между ними, как и размеры площадок перед ними и за ними, были вымерены, казалось, до сантиметра. А за линиями барачков бежало широкое, ослепительно светлое шоссе: видимо, еще одно, точно такое же, по которому мы шли из бани, – из-за полной неразличимости дорог, площадей и построек на этом огромном плоском пространстве все стало путаться – по крайней мере, в моих глазах. Там, где шоссе пересекало проходящие между бараками улицы, на них стояли, перекрывая выход, маленькие, словно игрушечные, красно-белые, изящные шлагбаумы. Справа же тянулась уже хорошо знакомая проволочная ограда, по которой, как я с изумлением узнал, был пропущен электрический ток; и в самом деле, я лишь сейчас обратил внимание, что на бетонных столбах укреплено множество белых фарфоровых роликов, как дома – на телеграфных столбах и на стенах, куда были подведены провода. Ток, сказали знающие люди, убивает насмерть; но вообще-то достаточно ступить на узкую песчаную полосу возле проволочной ограды, чтобы тебя без предупреждения, без единого слова застрелили со сторожевой вышки (вышки нам показали: это были те самые сооружения, которые я заметил еще со станции, приняв их за охотничьи гнезда-засады); знающие люди, охотно и с многозначительным видом, предостерегали нас, новичков, еще много от чего. Вскоре, гремя посудой и сгибаясь под тяжестью каких-то кирпично-красных емкостей, прибыли добровольные разносчики еды. Дело в том, что незадолго до этого пролетел слух, который обсуждали, повторяли и передавали друг другу по всему двору: скоро мы получим горячий суп! Что отрицать, я тоже счел это весьма своевременным – хотя сияющие благодарностью лица, преувеличенная, почти детская радость, с какой люди встретили весть, несколько удивили меня; у меня появилось ощущение, что они радуются не столько супу, сколько, прежде всего, свидетельству того – после множества первых неприятных сюрпризов, – что о нас все же заботятся; так, по крайней мере, мне показалось. Я нашел весьма вероятным, что слух этот исходил от того заключенного, который, когда мы оказались на месте, сразу выступил в роли нашего гида, чтоб не сказать: хозяина. На нем, как и на заключенном, встретившем нас в бане, была удобная, по размеру, роба, на голове – в моих глазах уже выглядевшая как что-то необычное – шевелюра, поверх нее – берет из толстого темно-си-

него сукна, который дома мы называли «баскской шапкой», на ногах – красивые желтые полуботинки, а главное – красная повязка на рукаве, которая сразу стала символом его непререкаемого авторитета, и я уже начал склоняться к тому, что мне, видимо, следует срочно пересмотреть истину, которую я усвоил с детства: насчет того, что «не одежда делает человека». Кроме того, на груди у него был нашит красный треугольник, который призван был показать всем, что заключенный этот находится здесь не из-за национальной своей принадлежности, а всего лишь из-за образа мыслей, в чем я вскоре смог убедиться. На нас он взирал чуть-чуть, может быть, свысока, в разговоре был не слишком многословен, однако охотно и доброжелательно объяснял все, что нам необходимо знать, и я тогда не видел в этом ничего из ряда вон выходящего: ведь в конце концов, размышляя я, он здесь, по сравнению с нами, старожил. Высокий и скорее худощавый, с лицом, немного помятым и испитым, в целом он все же внушал симпатию. Еще я заметил, что он старается держаться в стороне, а иной раз, думая, что его никто не видит, смотрит на нас каким-то недоумевающим взглядом, и на его губах появляется странная улыбка, словно он качает про себя головой, не в силах понять что-то, сам не знаю что. Позже мы прослышали, что он родом из Словакии. Несколько человек из наших говорили по словацки, и потом они собирались вместе, образуя небольшой кружок.

Суп он разливал нам сам – с помощью странной, в форме воронки, разливательной ложки на длинной ручке; еще двое, его помощники, тоже не из наших, стояли рядом, раздавая нам красные эмалированные миски и старые, помятые ложки – по одной миске и по одной ложке на двоих, поскольку посуды, как они объяснили, на всех не хватает, а потому сразу после использования ее следует вернуть им. Подошла моя очередь. Суп, миску и ложку я получил на пару с Кожевником; не могу сказать, что я был очень этому рад, поскольку мне никогда до сих пор не приходилось есть ни с кем из одной тарелки, да еще и одной ложкой; но ничего не поделаешь, я понимал, нужда иной раз и не такому научит. Суп сначала попробовал Кожевник – и тут же отдал миску мне. На лице у него было немного странное выражение. Я спросил, ну как, мол, вкусно? «А ты попробуй», – ответил он. Но тут я и сам увидел, что ребята вокруг смотрят друг на друга, кто кривя рот, кто давясь от смеха. Я попробовал варево – и есть это в самом деле было невозможно. «Что будем делать?» – спросил я Кожевника; он сказал: по его мнению, «суп» спокойно можно выплеснуть на землю. И тут за спиной у меня раздался бодрый, даже веселый голос: какой-то человек объяснял, что суп этот – не суп, а так

называемое «дёр-гемюзе[14]». Я увидел коренастого, немолодого уже заключенного, со светлой полосой на верхней губе от недавно сбритых висячих усов, с выражением доброжелательного превосходства в глазах. Вокруг стояло

несколько наших ребят, брезгливо держа в руках миски; обращаясь к ним, он сказал, что участвовал в предыдущей мировой войне, причем в чине офицера. «У меня было достаточно времени, – рассказывал он, – чтобы основательно познакомиться с этой штукой». И не где-нибудь, а на фронте, в окопах, среди немцев, «с которыми мы тогда сражались плечо к плечу» – так он выразился. По его словам, этот суп, собственно, не что иное, как «отвар из сушеных овощей». Для венгерского желудка, добавил он с понимающей, но в то же время и с несколько презрительной улыбкой, это, конечно, не слишком подходящее блюдо. Однако, утверждал он, привыкнуть к такой пище можно и даже, считает он, нужно, поскольку в ней много «питательных веществ и витаминов», что, объяснил он, обеспечивается способом сушки, а немцы в таких делах – мастера. «И вообще, – заметил он с улыбкой, – у хорошего солдата первое правило: ешь все, что дают сегодня, потому что неизвестно, дадут ли завтра». И затем, как бы для того, чтобы придать весомости этим словам, съел свою порцию, спокойно, но споро, до самой последней капли, ни разу не поморщившись. И все-таки я выплеснул содержимое нашей с Кожевником миски на землю возле стены барака, так же, как это сделали некоторые взрослые и кое-кто из ребят. Но, выплеснув, немного растерялся, так как в следующий момент поймал обращенный на меня издали взгляд нашего старосты, и встревожился: не рассердится ли он на нас за это, – но лишь снова заметил на его лице все то же своеобразное выражение, все ту же, знакомую мне, неопределенную улыбку. Миску я отнес назад, а взамен получил толстый ломоть хлеба и на нем белый кубик, похожий на деталь из детского конструктора и примерно такой же величины: масло; нет, маргарин, сказали нам. Это я съел, хотя такого хлеба в жизни еще не видел: он тоже был в форме кубика, хотя и немного побольше, и выпечен словно из черной грязи, в которой попадались соломинки и какие-то твердые частицы, скрипящие на зубах; но все-таки это был хлеб, а я за долгий путь успел основательно проголодаться. Маргарин, за отсутствием ножа или другого приспособления, я размазал по хлебу пальцем, словно какой-нибудь Робинзон; точно так же, кстати, поступали и другие. Потом я стал смотреть, где бы попить воды; но, как это ни было неприятно, оказалось, что воды нет. Ну вот тебе, досадовал я, опять теперь мучиться от жажды, как в поезде.

И тут всем нам, хотелось того или нет, но пришлось всерьез обратить внимание на запах. Назвать, определить его мне было трудно: сладковатый, какой-то липкий, он содержал уже знакомый химический привкус и что-то еще, и все это – в таком сочетании, что я уже не шутя опасался, как бы только что съеденный хлеб не запросился обратно. Мы быстро установили, что источник его – труба, которая виднелась слева, довольно далеко за шоссе. Это явно была фабричная труба, так нам сказал староста, да она и выглядела как фабричная; причем, по всей вероятности, труба кожевенной фабрики, как многие предположили. В самом деле, я тоже вспомнил: когда мы с отцом, в

былые времена, иногда ездили по воскресеньям в Уйпешт[15] на футбольный матч, трамвай вез нас мимо кожевенной фабрики, и мне в том месте приходилось зажимать себе нос. А вообще-то, пронесся новый слух, на этой фабрике мы, к счастью, не будем работать: если все будет в порядке, если не случится тифа, дизентерии или другой эпидемии, то скоро – обнадежили нас – мы двинемся в другие, более приятные места. Потому у нас и на одежде, а главное, на коже нет пока никаких номеров, таких, как, например, у нашего старосты, или «коменданта блока», как теперь его называли. В том, что у него в самом деле есть номер, многие из нас уже убедились лично: номер этот, рассказывали они, светло-зелеными чернилами нанесен ему на запястье, вернее, специальной иглой навечно вколот под кожу, и называется это – татуировка. Тут я как раз вспомнил, что говорили добровольцы, ходившие за супом. Они тоже видели подобные номера на коже у старых лагерников на кухне. Особенно занимал всех ответ – его передавали из уст в уста, повторяли, пытаюсь понять смысл, – который дал один заключенный, когда кто-то из наших спросил, что это за номер. «Himmliche Telephonnummer», – то есть «небесный телефонный номер», ответил якобы тот. Я видел, слова эти многих заставляли задуматься, и хотя

сам я не очень-то мог пока расставить все по местам, однако услышанное и мне, что скрывать, показалось несколько странным. Во всяком случае, после этого наши стали как-то особенно активно отираться вокруг коменданта блока и двух его помощников: как бы между прочим люди подходили к ним, обращались с вопросами, стараясь выпытать то, что было не совсем понятно, а потом спешили обменяться услышанным с другими. Скажем, многих обеспокоила обмолвка насчет эпидемии: а что, тут и эпидемии бывают? «Бывают», – звучал краткий ответ. И что происходит с больными? «Умирают». А когда умрут? «Тогда их сжигают», – услышали мы. По правде говоря – выяснилось мало-помалу, хотя каким именно образом выяснилось, я точно сказать не могу, –

словом, труба, что виднеется там, напротив, на самом деле вовсе не кожевенная фабрика, а «крематорий», то есть печь для сжигания трупов: так мне объяснили значение этого слова. Тогда я рассмотрел ее повнимательнее: она была приземистая, угловатая, с широким отверстием, как будто верхушку ее срезали вдруг одним ударом. Могу сказать, что, узнав это, ничего особенного, кроме некоторого почтения – ну и, само собой, запаха, который просто уже обволакивал, затягивал, словно густая липкая жижа, словно болото, – я не почувствовал. Зато немного дальше мы, каждый раз удивляясь, увидели еще одну, потом еще одну и, уже где-то на горизонте, на самой кромке сияющего небосвода, еще одну такую же трубу; две из этих, вновь обнаруженных труб извергали, подобно нашей, густой дым, и, наверное, правы были те, кто с подозрением смотрел и на клубы дыма, поднимающиеся в небо из-за отдаленной, с вялой зеленью рощицы; наверняка у них возник вопрос – на мой взгляд, вполне естественный: если тут столько трупов, неужто и в самом деле эпидемия так разгулялась?

Определенно могу сказать: еще не настал вечер первого дня, а я в общих чертах, приблизительно во всем уже разобрался. Правда, за это время мы побывали еще и в бараке-нужнике, который тоже представлял собой строение вроде сарая, где от торца до торца тянулись три дощатых возвышения, и на каждом двумя рядами – то есть всего шесть рядов – располагались отверстия: над ними надо было присаживаться или попадать в них стоя, кому что требовалось. Много времени, чтобы освоиться, нам не дали: очень скоро в дверях появился сердитый заключенный, теперь уже с черной повязкой на рукаве, с тяжелой на вид дубинкой, и всем, успели они справиться со своими делами или не успели, пришлось немедленно удалиться. Там же околачивались еще двое старых, но попроще, заключенных: эти оказались более покладистыми и охотно давали нам объяснения. Под руководством коменданта блока нам пришлось проделать – туда, потом обратно – довольно длинный путь; зато путь этот проходил мимо интересного поселения: за проволочной изгородью стояли обычные бараки, но между ними ходили странные женщины (взглянув на них, я тут же поспешил отвернуться: у одной из женщин платье было расстегнуто сверху, и оттуда свисало что-то, к чему судорожно припал младенец с блестящей на солнце, гладко остриженной головенкой) и не менее странные мужчины, одетые, как правило, в заношенную, но все-таки не лагерную, а обычную одежду, какую люди носят там, за проволокой, в вольной, так сказать, жизни. На обратном пути я уже знал: это – цыганский табор. Я даже удивился немного: дома к цыганам все, и я в том числе, относились, само собой, сдержанно, однако до сих

пор я ни разу не слышал, что они тоже в чем-то виноваты. Как раз в тот момент, когда мы шли мимо, туда приехала телега, которую тянули дети, впряженные в постромки, как пони; рядом с ними шагала женщина с длинными пышными усами и с кнутом в руке. Телега была прикрыта какими-то драными одеялами, но из-под них тут и там выглядывала поклажа: хлеб, причем не просто хлеб, а – ошибиться тут было невозможно – настоящие белые булочки; стало быть, сделал я вывод, цыгане все-таки стоят на ступеньку выше нас. И еще один эпизод запомнился мне после похода в нужник: за проволочной оградой, в другой стороне, по дороге, в белом пиджаке и белых брюках с широкими красными лампасами, в большом бархатном черном берете, какие, если судить по старинным картинам, носили в средние века художники, с толстой лакированной тростью в руке, прогуливался, поглядывая по сторонам, человек, и мне очень трудно было поверить, что он такой же заключенный, как мы; люди вокруг уверяли, однако, что это так и есть.

Готов поклясться хоть под присягой: по пути ни туда, ни обратно лично я ни с кем посторонним не разговаривал. И все-таки именно после этого похода у меня появилось более или менее точное представление о том, куда мы попали. Теперь я знал, что там, напротив нас, в этот самый момент горят в печи те, кто ехал вместе с нами в поезде, кто на станции попросился на грузовик, кого, по возрасту или по другой какой-то причине, врач счел непригодным для работы, а также малыши и вместе с ними их матери, не говоря уже о будущих матерях, фигура которых выдавала их беременность, – так нам сказали. Со станции их тоже повели в баню. Им, как и нам, рассказали про вешалки, про номера, которые нужно хорошо запомнить, про то, где и как они будут мыться. Говорят, их тоже ждали парикмахеры, и мыло им раздали так же, как нам. Потом они тоже попали в помывочную, где тоже есть трубы и душевые розетки,

– только из этих розеток на них пустили не воду, а газ. Все это свалилось на меня не сразу, а по частям, понемногу, я то и дело узнавал новые и новые подробности, с некоторыми не соглашаясь, другие принимая сразу и дополняя их новыми деталями. Так, я услышал, что вплоть до самой газовой камеры с людьми обращаются очень вежливо, даже предупредительно, окружая их теплом и заботой, дети играют в мяч и поют, а место, где их убивают, очень красиво, ухожено, окружено газоном, деревьями и цветочными клумбами; потому все это, наверное, и оставило у меня ощущение какого-то розыгрыша, какой-то веселой мальчишеской проказы. Собственные впечатления тоже играли тут, если подумать, не последнюю роль: я, например, вспомнил, как ловко,

с помощью трюка с вешалкой и номером, который обязательно надо было запомнить, нас обвели вокруг пальца, заставив переодеться в лагерную робу; или как напугали тех, у кого еще были какие-то ценности, сказкой насчет рентгена, которая так и осталась пустой сказкой. Конечно, я понимал, все это, если смотреть с другой стороны, вовсе не шутка: ведь что касается конечного результата – если можно так выразиться, – то его я мог наблюдать собственными глазами, а главное, ощущать все никак не успокаивающимся желудком; но что делать, все равно это представлялось мне в какой-то мере, пускай не очень смешным, но все-таки розыгрышем, и в основе своей – во всяком случае, так мне казалось – вряд ли очень уж сильно отличалось от того, что на самом деле происходило. В конце концов, ведь, скорее всего, оно так и должно было быть: какие-то люди, пускай не мальчишки, не школяры, само собой, а взрослые, люди, может, даже солидные господа, в солидных костюмах, с сигарами во рту, с орденами, то есть сплошь большие начальники,

– сидят, значит, за столом, склонившись друг к другу, и никто им в это время не должен мешать – так я себе это представлял. Сидят они, значит, и вдруг кому-то из них приходит в голову мысль: одному, скажем, газ, другому

– баня, третьему – кусочки мыла, четвертый придумывает разбить вокруг бани клумбы с цветами, ну и так далее. Некоторые идеи они, возможно, обсуждают дольше, что-то уточняют, добавляют, другие принимают сразу и с восторгом и, вскочив с места (не знаю почему, но от этого я не желал отступаться: обязательно вскочив с места), хлопают друг друга по плечам; все это чрезвычайно увлекательно было представлять – по крайней мере, мне. Фантазии больших начальников, после того, как за дело возьмется множество старательных рук, после труда, хлопот, суеты – становятся реальностью; нет просто ни малейших сомнений – я не мог этого не видеть, – что замысел будет успешно осуществлен. Подтвердить это могут – если могут – и та старушка со станции, которую сын уговаривал быть послушной, и малыш в белых туфельках со своей белокурой мамочкой, и толстая дама в летнем цветастом платье, и старый господин в черной шляпе, и нервно-больной, бодро улыбавшийся перед врачом. Вспомнился мне и Эксперт: то-то поди удивился, бедняга, такому исходу. Розы, грустно качая головой, сказал: «Бедный Мошкович», – и все мы с ним согласились. Тут Сутенер вдруг воскликнул: «Господи Боже!» Как мы узнали от него самого, догадки наши были справедливы: между ним и той девицей с кирпичного завода в самом деле «все было», и теперь он с испугом подумал о возможных последствиях, которые ведь со временем должны стать заметными. Мы согласи-

лись, что ему в самом деле есть о чем волноваться; правда, кроме озабоченности, на лице у него словно бы отразилось еще и другое, с трудом поддающееся выражению чувство, так что ребята в тот момент смотрели на него даже с некоторым уважением, которое мне было вполне понятно.

И еще одна вещь заставила меня задуматься в тот, самый первый, день: как нам стало известно, это место, это учреждение существует, стоит здесь, действует уже несколько лет, месяц за месяцем, день за днем; и, хотя я понимал, что тут есть некоторое преувеличение, но тем не менее: оно стоит, как бы дожидаясь меня. Во всяком случае – вспоминали многие со своеобразным, почти боязливым почтением, – комендант нашего блока живет здесь ровно четыре года. Мне пришло в голову, что как раз четыре года назад и в моей жизни случилось знаменательное событие: меня как раз записали в гимназию. Мне хорошо запомнилось торжественное открытие учебного года: я, конечно, тоже был там, одетый в темно-синюю венгерку с позументами. Запомнил я и слова директора, человека с внушительной внешностью – как сейчас вижу его, похожего на большого начальника, – со строгим пенсне на носу и красивыми седыми усами. В завершение своей речи, помню, он привел слова какого-то античного мудреца: «Non scolae sed vitae discimus», то есть «Не для школы учимся, а для жизни». Но раз так, размышлял я, то нас должны были бы с начала и до конца учить Освенциму. Еще в гимназии нам должны были все объяснить, открыто, честно, доступно. Только вот беда: за четыре года я там не слышал об этом ни слова. Конечно, готов согласиться, на уроках это было бы не совсем уместно; да и не имеют такие вещи отношения к культуре. Зато мне теперь приходится расплачиваться: ведь я только здесь восполнил пробелы в своем образовании – узнал, например, что место, где мы находимся, называется Konzentrationslager, то есть концентрационный лагерь. Однако лагеря эти, как мне объяснили, тоже не все одинаковы. Наш лагерь, например, это Vernichtungslager, то есть лагерь смерти, просветили меня знающие люди. Совсем другое дело, однако, тут же добавили они, Arbeitslager, то есть трудовой лагерь: жизнь там легкая, условия и питание, говорят, и сравнить со здешними нельзя, и это очень даже естественно, ведь там и цель, в конце концов, другая. Вот и мы должны попасть в такой лагерь, если, конечно, что-нибудь не случится, а здесь, в Освенциме – обычно вздыхал говоривший – случиться может все. Во всяком случае, объявлять себя больным никак не рекомендуется, продолжали нас просвещать. Бараки для больных вообще-то находятся вон там, на той стороне дороги, как раз у подножия одной из труб

– «двойки», как для краткости называли ее меж собой посвященные. Опасность таит в себе главным образом сырая вода – например, та, которую и я пил, когда мы шли со станции, – но откуда мне в конце концов было об этом знать? Конечно, там стояла табличка, тут сказать нечего, но все-таки и солдат, мне казалось, должен был бы предупредить нас. Ах да, пришло мне в голову, я же забыл, что цель тут совсем другая; но в общем-то, прислушавшись к себе, я убедился, что все у меня, слава Богу, вроде в порядке, да и ребята пока не жаловались.

До вечера было далеко, и я еще много узнал, много увидел, со многими здешними обычаями познакомился. Во второй половине дня шло столько разговоров о том, что нас ждет, чего нам бояться, на что надеяться, что все это отодвинуло на второй план даже трубу, дымившую напротив. Иногда мы вообще забывали о ней: все зависит от направления ветра, как многие из нас убедились. В тот день я впервые увидел и женщин. Наши столпились у проволочной изгороди и возбужденно показывали куда-то вдаль: в самом деле, это были они, хотя между нами пролегало обширное глинистое поле, так что узнать в двигающихся фигурках женщин на таком расстоянии было не так-то легко. Я даже немного испугался, разглядев их, – и заметил, что после первой радости, после первого волнения, люди вокруг тоже как-то притихли. Лишь одно глухое, с некоторой дрожью произнесенное слово донеслось, надолго запомнившись, до меня: «Лысые». И в воцарившейся тишине, в легком веянии предвечернего ветерка я впервые разобрал – пусть едва слышную, напоминающую скорее чириканье, но все же, вне всяких сомнений, веселую, мирную музыку, которая вот так, вместе с тем, что мы видели, просто ошеломила всех, и меня в том числе. Потом я впервые стоял, тогда еще понятия не имея, чего ожидать, в одной из задних шеренг десятирядного строя перед нашим баракком – точно так же, кстати, как стояли заключенные перед другими бараками, впереди, позади, по сторонам, сколько хватало зрения. И впервые сорвал с головы шапку, когда прозвучала команда и за проволокой, по главной дороге, в мягком воздухе густеющих сумерек показались трое офицеров, медленно, бесшумно едущие на велосипедах; это было красивое и, как мне показалось, строгое зрелище. В тот момент мне опять пришло в голову: смотри-ка, ведь я, собственно, давно не встречал здесь военных. Правда, при этом я не мог не поразиться тому, что в этих офицерах, которые с такими неподвижными, ледяными лицами, как бы с недостижимой высоты выслушали (один даже сделал какие-то пометки в продолговатом блокноте) с той стороны шлагбаума то, что с этой стороны докладывал им комендант нашего блока (шапку он тоже снял и держал в руке), и которые без едино-

го звука, слова, кивка покатили затем по пустой дороге дальше, – в этих далеких и неприступных, как некие зловещие божества, существах очень трудно, почти невозможно было узнать доброжелательных, чтобы не сказать, гостеприимных людей, еще сегодня утром встречающих нас у поезда. Тут до меня донесся тихий шорох и чей-то едва слышный голос, и справа от себя я увидел выпяченную грудь и напряженно вздернутый подбородок: там стоял бывший боевой офицер, тот, что рассказывал нам про сушеные овощи. «Вечерняя поверка», – прошептал он, почти не шевеля губами и чуть заметно кивая; на лице его была улыбка человека, который наблюдает некий хорошо знакомый, абсолютно ясный для него, обладающий глубоким смыслом и потому заслуживающий всяческого одобрения ритуал. И тогда же я впервые увидел – ибо опустившаяся темнота застала нас все еще в строю – цвет здешнего неба, это сказочное зрелище, где сполохи пламени и фонтаны искр образовали на всей левой стороне небосклона настоящий фейерверк. «Крематории!..» – шептали, бормотали, повторяли вокруг меня, и в шепоте этом было, я бы сказал, преклонение, которое человек испытывает перед каким-нибудь необычным природным феноменом. Потом прозвучало

«Abtreten![16]» – и я ощутил было легкий голод, но вовремя вспомнил, что ужином нашим, собственно говоря, был тот самый хлеб, который я съел еще утром. Очень скоро выяснилось, что внутри наш барак, или блок, совершенно пуст – ни мебели, ни света, один цементный пол, и спать нам пришлось так же, как в жандармской конюшне: я прислонялся спиной к коленям кого-нибудь из ребят, к моим коленям прислонялся еще кто-нибудь и так далее. Однако, вымотанные до предела от множества новых впечатлений, испытаний, переживаний, мы заснули мгновенно.

От последующих дней – как и от времени, проведенного на кирпичном заводе,

– в памяти у меня сохранилось мало подробностей; скорее – смутная их окраска, некое общее впечатление, я бы даже сказал: общее ощущение. Но определить, что это за ощущение, мне было бы нелегко. Каждый день, каждый час находилось что-нибудь новое, что я узнавал, видел, испытывал. Раз– другой меня снова касался ледяной холод того странного, чуждого чувства, с которым я впервые столкнулся, увидев издали женщин; раз-другой снова случалось, что я оказывался в кольце ошеломленных, вытянувшихся лиц, недоуменно глядящих друг на друга людей, которые спрашивали друг друга: «Что скажете? Ну что вы на это скажете?» – и ответа на этот вопрос или не было вовсе, или он был один и тот же: «Ужас». Но это все-таки не то слово, не вполне то впечатление – во всяком случае, для меня, – которым я мог бы

по-настоящему охарактеризовать Освенцим. Среди нескольких сотен обитателей нашего блока оказался, как выяснилось, и наш старый знакомец, Невезучий. Выглядел он в висящей на нем полосатой робе, в великоватой, то и дело сползающей на лоб шапке довольно странно. «Что вы на это скажете? – спрашивал то и дело и он. – Что вы скажете?..» Нам, конечно, нечего было ему сказать. Да я уже и не очень-то мог уследить за смыслом его путаных, смутных речей. Думать-де, твердил он, вообще нельзя, то есть об одном все-таки можно и нужно думать, причем постоянно: о тех, кого ты «оставил дома» и ради кого «ты должен быть сильным», – о жене и о двоих малышах, которые ждут тебя; такова была, насколько я мог уловить, суть его речей. Но главная беда, которая всех нас терзала, была, в сущности, та же, что на таможне, потом на кирпичном заводе, потом в поезде, – эта беда была: нескончаемость дней. Начинались они очень рано, почти сразу с летним рассветом. Именно тогда я узнал, до чего холодно в Освенциме по утрам; мы с ребятами садились к стене барака, обращенной к проволочной ограде, лицом к едва поднявшемуся над горизонтом красному диску солнца, и тесно прижимались друг к другу. А спустя часа два принимались искать тень. Во всяком случае, время кое-как все же шло; тут был с нами Кожевник, а значит, иногда звучали и шутки; тут тоже нашлись если и не гвозди от подков, то простые камешки, которые Сутенер раз за разом у нас выигрывал; тут порой тоже раздавалась команда Розы: «А теперь давайте споем по-японски!» Кроме того, дважды в день – поход в нужник, а по утрам – еще и в умывальную (такой же барак, только вместо возвышений в нем – три оцинкованных желоба во всю длину, над каждым желобом – металлическая труба с частыми маленькими отверстиями, из которых текла вода), потом раздача еды, вечером – поверка; ну и, конечно, слухи; этим нам и приходилось довольствоваться, из этого состоял день. Бывали, правда, некоторые экстраординарные события: скажем, Blocksperrge, «карантин барака» на второй вечер, – тогда я впервые увидел нашего коменданта в нетерпении, даже, я бы сказал, в раздражении; сидя в душевной темноте, мы слышали доносящийся издали шум, в котором, если замереть и хорошо прислушаться, можно было различить крики боли и ужаса, собачий лай, выстрелы. Или такое вот зрелище: за колючей проволокой шли люди, которые, как нам сказали, возвращались с работы; мне оставалось лишь поверить – да мне и самому так казалось, – что на примитивных повозках, которые тащили люди, замыкавшие колонну, действительно лежат мертвецы; все, кто был вокруг меня, утверждали то же самое. Подобные события на какое-то время, само собой, давали пищу моему воображению. Но конечно же этого было недоста-

точно, чтобы заполнить длинный, бездеятельный день. Так я пришел к мысли, что даже в Освенциме, видимо, можно скучать – при условии, что ты человек привилегированный. Мы жили, ожидая чего-то; если подумать, то ожидая, собственно, одного: чтобы ничего не случилось. Вот эта скука, вместе со странным этим ожиданием, и была тем основным ощущением, которое, в первом приближении, и есть настоящий Освенцим – по крайней мере, в моих глазах.

Должен честно сказать: на второй день я съел всю порцию «супа», на третий

– уже ждал его. Вообще режим питания в Освенциме казался мне весьма странным. Рано утром нам доставляли некую жидкость, которая называлась «кофе». Обед, то есть ту самую баланду, подавали на удивление рано, где-то часов в девять утра. Затем в этом плане не происходило более ничего вплоть до самых сумерек, когда, непосредственно перед проверкой, появлялся хлеб с маргарином; так что уже на третий день я уже довольно хорошо ощутил, что такое голод; на голод жаловались все наши ребята. Только Курилка заявил, что ему куда сильнее недостает сигареты; хотя сказал он это, как всегда, отрывисто и сквозь зубы, на лице у него было нечто похожее, пожалуй, на удовлетворение – недаром его слова у ребят вызвали некоторое раздражение, и, думаю, поэтому они поспешили от него отмахнуться.

Как ни странно, однако это – бесспорный факт: в Освенциме я провел, собственно говоря, всего три полных дня. На четвертый, вечером, я снова был в поезде, в одном из таких знакомых уже грузовых вагонов. Местом нашего

назначения, как мы узнали, был какой-то Бухенвальд[17], и хотя к такого рода названиям, ласкающим слух, я теперь относился настороженно, тем не менее некое тайное радостное ожидание, теплое ощущение близкой к осуществлению мечты жили в душе, несмотря ни на что; способствовала этому и плохо скрытая зависть, которая – так мне казалось – я видел на лицах тех, кто провожал нас в путь. Я не мог не заметить, что в основном это старые, многоопытные лагерники, а также заключенные с привилегированным статусом, о чем свидетельствовали их нарукавные повязки, шапки и обувь. Возле поезда тоже распоряжались они; офицеров-немцев я видел лишь издали: несколько из них, да и то невысокого чина, маячили в отдалении, на краю платформы; и вообще, тишина и покой, царившие возле поезда, как и мирные краски того летнего вечера, – ничто как будто (кроме, само собой, прежних размеров) не напоминало ту бурлящую волнение, напряженную, переполненную тревогой, ярким светом, порывистыми движениями, спешкой, громкими криками станцию, на кото-

рой когда-то – точно три с половиной дня тому назад – я высадился.

О дороге на сей раз могу сказать еще меньше: все было, как обычно. В вагоне ехало не шестьдесят, а восемьдесят человек; правда, теперь без багажа, да и о женщинах уже не надо было заботиться. Так же стояла в углу параша, так же было жарко и хотелось пить, но зато было меньше искушений – я имею в виду съестное; паек на дорогу: ломоть хлеба, размером побольше, чем обычно, к нему двойную порцию маргарина и кусок так называемого

«вурста»[18], немного напоминающего сардельку – нам выдали перед посадкой в поезд, и я его сразу же съел: во-первых, потому, что был голоден, а во-вторых, пищу в вагоне все равно негде было хранить; ну и еще потому, что никто не сказал, что дорога опять займет три дня.

В Бухенвальд мы тоже прибыли утром; небо было солнечным, но с облаками, воздух – чистым, свежим, с легкими порывами ветра. Здешний вокзал – по крайней мере, после Освенцима – выглядел этаким провинциальным, дружелюбным полустанком. Правда, прием, оказанный нам, был не столь дружелюбным: дверь вагона здесь отодвинули в сторону не заключенные, а солдаты; так что – пришло мне в голову – это был, собственно говоря, первый настоящий и, можно сказать, ничем не прикрытый случай, когда я попал с ними в такой близкий,

даже тесный контакт. Я только глазами хлопал, наблюдая, с какой быстротой, с какой вымеренной до предела точностью все происходит. Несколько отрывистых команд: «Alle 'raus!» —

«Los!» – «Funferreihen!» – «Bewegt euch!»[19], пара глухих ударов, пара затрепанных, пара пинков, взмах дулом винтовки, несколько приглушенных вскриков – и колонна наша уже построена, как по ниточке, и уже движется вперед, и в конце перрона к ней, всегда на одном и том же повороте (я заметил, что к каждому пятому ряду, то есть к каждой группе из двадцати пяти человек, одетых в полосатые робы) присоединяются с обеих сторон по солдату, шагая на расстоянии около метра от колонны, ни на мгновение не спуская с нее глаз; теперь они уже идут молча, только собственными шагами задавая темп и направление, постоянно поддерживая в жизни эту, немного напоминающую гусеницу, которую мы в детстве с помощью кусочков бумаги и палочек направляли в спичечный коробок, в каждом сочленении своем связанную одним ритмом, одним колебательным движением колонну; все это немного как бы даже гипнотизировало меня, захватывало целиком, подчиняло каким-то образом мое сознание. Я не удержался, чтобы не улыбнуться чуть-чуть: мне вспомнилось, как неохотно,

едва ли не стыдливо конвоировали нас в тот памятный день из таможни в жандармерию полицейские. Но, не мог не признать я, даже наши жандармы, при всей их преувеличенной грубости, выглядели всего лишь шумными и суетливыми дилетантами на фоне этого молчаливого, четко согласованного во всех мелочах профессионализма. И пускай я хорошо видел лица этих солдат, цвет их глаз и волос, те или иные их характерные черты, даже недостатки вроде какого-нибудь прыщика на подбородке – я все же почему-то не мог уцепиться за это, мне словно приходилось убеждать себя в том, что рядом с нами идут живые люди, несмотря ни на что, в общем и целом похожие на нас, в конечном счете сделанные из того же теста, что и мы. И тут же мне пришло в голову, что я, наверное, в чем-то ошибаюсь: ведь, как ни кинь, я – не то, что они.

Я заметил, что мы поднимаемся вверх по склону, который становится все более пологим, и опять же идем по великолепной, но не прямой, как в Освенциме, а извилистой дороге. Вокруг было много естественной зелени, стояли аккуратные домики, в отдалении виднелись окруженные деревьями особняки, парки, сады; вся местность эта, все расстояния, все пропорции казались умеренными, даже, смело могу сказать, ласкали глаз – во всяком случае, глаз, привыкший к Освенциму. Справа от дороги мы вдруг увидели – и от удивления разинули рты – настоящий маленький зоопарк с косулями, разными грызунами, другими зверями, среди которых был и, довольно, правда, потертый, бурый медведь, – слышав шаги нашей колонны, он возбужденно сел, приняв позу попрошайки, и даже проделал в своей клетке несколько шутовских движений – но на сей раз его старания остались, само собой, напрасными. Потом мы миновали какую-то статую, стоящую среди зеленой лужайки на развилке дороги, на белом постаменте, и выполненную из того же, что и постамент, белого, мягкого, зернистого, матового камня, поверхность которого, насколько я мог судить, была обработана скорее грубо, чем тщательно. По вертикальным полоскам, прорезанным в одежде, по голове без признаков шевелюры, а главное, по той деятельности, которую он изображал, сразу можно было понять: это – фигура заключенного. Голова, наклоненная вперед, и нога, выдвинутая назад, согнутая в колене и приподнятая над землей, обозначали, видимо, бег, в то время как руки судорожно обхватывали огромный каменный куб. В первый момент я смотрел на скульптуру – как нас учили еще в школе – незаинтересованно, видя в ней, так сказать, лишь произведение искусства, и лишь потом мне пришло в голову, что наверняка в ней заложен какой-то смысл и что, если подумать, она представляет собой не слишком благоприят-

ное предзнаменование для нас, вновь прибывших. Но тут мы увидели густую проволочную сетку, затем – парадные ворота меж двух приземистых столбов, над воротами – некую застекленную вышку, слегка напоминавшую капитанский мостик на корабле; еще минута, и мы прошли под этой вышкой. Я прибыл в концентрационный лагерь Бухенвальд.

Лагерь расположен в холмистой местности и занимает верхнюю часть обширного склона. Воздух здесь чист, приятное разнообразие ландшафта – лес, перелески, внизу, в долине, красные черепичные крыши крестьянских домиков – радует глаз. Слева от главных ворот – баня. Заключенные, которые тебя встречают, в основном дружелюбны, хотя и несколько по-другому, чем в Освенциме. После прибытия тебя и здесь ждут мытье, парикмахеры, дезинфицирующая жидкость и смена одежды. Детали, так сказать, гардероба здесь вообще-то точно такие же, как в Освенциме. Только вода в бане теплее, цирюльники выполняют свою работу осмотрительнее, а кладовщик, выдающий одежду, пускай беглым взглядом, но все же старается угадать твой размер. Затем ты попадаешь в коридор, к застекленному окошечку, и там спрашивают, нет ли, случайно, во рту у тебя золотых зубов. Потом соотечественник, обитающий здесь уже давно, с отросшими волосами на голове, записывает твое имя в амбарную книгу и выдает треугольник желтого цвета и широкий лоскут материи – то и другое из холста. В середине треугольника, в знак того, что

ты в конце концов венгр, стоит буква U[20], а на лоскуте отпечатаны цифры твоего номера; на моем лоскуте значилось: 64921. Рекомендуются, как я узнал, по возможности скорее научиться четко, ясно произносить этот номер по-немецки: «Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig»: теперь на вопрос, кто я

такой, отвечать положено только так. Однако номер не наносят тебе на кожу, и, если тебе придет в голову еще прежде, например, где-нибудь в бане, с беспокойством поинтересоваться на сей счет, старый заключенный, воздев руки к небу и закатив глаза, запротестует: «Aber

Mensch, um Gotteswillen! Wir sind doch hier nicht in Auschwitz!»[21] При всем том и номер, и треугольник к вечеру должны быть у тебя на одежде, в районе груди, причем помочь тебе в этом могут единственные обладатели иголки и нитки – портные; если тебе очень надоест стоять в очереди, ты можешь ускорить процесс, пожертвовав какой-нибудь частью своей пайки хлеба или маргарина, но портной сделает свое дело и так, поскольку это в конце концов его обязанность, как нам сказали. Погода в Бухенвальде более прохладная, чем в Освенциме, дни здесь в основном пасмурные, часто моросит дождь. Зато в Бухенвальде случается, что

уже на завтрак тебя порадуют горячей похлебкой с мучной заправкой; затем следует дневная пайка хлеба – обычно треть черной маленькой буханки, но иногда бывает, что половина – не так, как в Освенциме: там обычно четверть, и иногда пятая часть; в баланде, которой кормят в обед, есть гуща, а в гуще попадаются красноватые мясные волокна, если же очень повезет, то и целый кусочек мяса; здесь я

познакомился и с понятием Zulage[22], которое подразумевает, что к ежедневному маргарину тебе добавляют («дают в пасть», по выражению все того же бывшего офицера, который и здесь оказался с нами, причем в таких случаях выглядел в высшей степени довольным) кусочек «вурста» или ложечку варенья. В Бухенвальде нас поместили в палатках – это был Zeltlager, то есть палаточный лагерь, или, другим словом, Kleinlager, Малый лагерь; спали мы на подстилке из соломы; спали хотя и все вместе и некоторым образом в тесноте, но все-таки в горизонтальном положении; проволочная ограда тут, на задворках лагеря, была еще не под током, но, предупредили нас, того, кто вздумает ночью выбраться из палатки, разорвут волкодавы – и сомневаться в серьезности этого предупреждения, даже если оно иных, может быть, сначала и удивляло, едва ли имело смысл. У другой же проволочной ограды, там, где начинаются бульжные улицы, аккуратные зеленые бараки и двухэтажные кирпичные домики большого, настоящего лагеря, расползающегося по склону во все стороны, – у ограды этой каждый вечер идет торговля: у лагерных старожилов, которые там появляются, можно довольно выгодно приобрести ложку, ножик, металлическую миску, какую-никакую одежду; один из них предлагал мне, всего лишь за полбулки хлеба, пуловер: он долго вертел его, показывая мне, объяснял что-то знаками, уговаривал, но я так и не решился купить: летом пуловер все равно ни к чему, а зима, мне казалось, еще далеко. Тогда же я увидел, сколько вокруг треугольников самого разного цвета и с самыми разными буквами: разобраться во всех них и понять, где чья родина, я в общем так и не сумел. Но и вокруг меня в венгерской речи звучало немало слов и выражений, отдающих провинциальным ароматом; кроме того, слух мой нередко улавливал здесь и то странное наречие, которое я впервые услышал в Освенциме от заключенных, которые нас встречали в вагоне. В Бухенвальде для обитателей Малого лагеря вечерней поверки не проводилось, а умывальная находилась на открытом воздухе, вернее, под развесистыми деревьями: устройство было, в сущности, такое же, как в Освенциме, но желоб сделан из камня, а главное, вода из отверстий текла, брызгала или, по крайней мере, сочилась целыми днями, так что здесь впервые – с тех самых пор,

как я попал на кирпичный завод, – со мной случилось настоящее чудо: я мог пить, когда хотелось и сколько хотелось, мог пить, даже если и не хотелось, а просто приходила в голову такая мысль. В Бухенвальде тоже есть крематорий, но всего-навсего один, и он здесь – не цель, не суть, не душа, не смысл лагеря, это я смело могу сказать – ведь в нем сжигают лишь тех, кто скончался уже в самом лагере, так сказать, в нормальных условиях лагерной жизни. В Бухенвальде (сведения эти исходили, по всей очевидности, от старожилков, так дошли они и до меня) больше всего следует опасаться каменоломни; хотя – добавляли сведущие люди – камень там сейчас почти не добывают, не то что раньше, в их времена, как они выражались. Лагерь, как я узнал, действует уже семь лет; однако здесь можно было встретить людей и из еще более старых лагерей: я запомнил такие названия, как Дахау, Ораниенбург, Заксен-хаузен; именно тогда я понял, что означает снисходительная улыбка, которая появлялась при нашем появлении на лицах у хорошо одетых и вззирающих на нас с другой стороны ограды привилегированных заключенных, на одежде которых я видел номера, показывавшие, что они из первых десяти или двадцати тысяч; но попадались мне и четырех- и даже трехзначные номера. Недалеко от нашего лагеря, узнал я, лежит знаменитый с точки зрения культуры город Веймар, о котором, само собой, и мне приходилось немало слышать дома, в гимназии: там, например, жил и творил, среди прочих, тот, чье стихотворение, начинающееся

словами «*Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?*»[23], я и сам знал наизусть; а еще, говорят, где-то на территории лагеря находится, снабженное мемориальной доской и отделенное от нас, заключенных, оградой дерево, которое этот великий человек собственноручно посадил здесь и которое с тех пор стало развесистым гигантом. Если принять все это во внимание, мне ничуть не трудно было понять, почему люди в Освенциме смотрели на нас, уезжающих, с таким странным выражением; могу честно сказать: я тоже быстро полюбил Бухенвальд.

Цейц, а точнее, концлагерь, названный по этому населенному пункту, находится от Бухенвальда в одной ночи пути на товарном поезде, ну и еще в двадцати—двадцати пяти минутах пешего хода, под конвоем, по шоссе, мимо старательно обработанных хлебных полей и других сельских пейзажей, – все это я знаю по собственному опыту. По крайней мере, теперь это наше постоянное место, тут мы останемся надолго, уверяли нас, – по крайней мере, останутся те из нашей компании, чьи фамилии в алфавитном порядке идут до буквы М; для тех же, кто после М, местом назначения должен был стать трудовой лагерь возле Магдебурга,

города, название которого, благодаря его историческому прошлому, звучало для меня все-таки более знакомо, чем Цейц. Все это нам, еще в Бухенвальде, вечером четвертого дня, на огромном плацу, освещенном дуговыми лампами, сообщили заключенные различной степени привилегированности; они держали в руках длинные списки, а я в тот момент думал лишь об одном: теперь мне придется расстаться со многими из наших ребят, а главное – с Розой; но потом прихоть алфавита (в вагоны нас помещали по фамилиям) оторвала меня и от остальных, к сожалению.

Должен сказать: нет ничего неприятнее, ничего изнурительнее, чем те хлопоты и заботы, через которые, видимо, непременно надо проходить всякий раз, когда прибываешь в новый концлагерь; во всяком случае, я испытал это и в Освенциме, и в Бухенвальде, и вот теперь в Цейце. Вообще-то я сразу увидел, что на сей раз мы прибыли в маленький, бедноватый, второстепенный, почти захолустный концлагерь. Здесь не было ни бани, ни даже крематория: сооружения эти, видимо, принадлежность только важных, больших лагерей. Местность вокруг – равнинная, однообразная; лишь с одной стороны, вдалеке, маячит синеватая гряда – это горный хребет Тюрингенский Лес, сказал кто-то. Лагерь находится рядом с шоссе; в сущности, это всего лишь большой пыльный пустырь, огороженный колючей проволокой, со сторожевыми вышками на четырех углах; с одной стороны его – ворота, выходящие к шоссе, с трех других – огромные, размером с ангар или цирк-шапито, палатки. Нас, прибывших, построили на плацу и потом долго пересчитывали, перегоняли с места на место; вся эта суэта, сопровождаемая криками и тычками, как оказалось, нужна была лишь для того, чтобы распределить нас по палаткам – они здесь назывались «блоками» – и перед каждой палаткой, шеренгами по десять человек, выстроить тех, кто будет в ней жить. В результате нескончаемых перетасовок я оказался, если быть совсем точным, в последней шеренге перед крайней правой палаткой (если смотреть в сторону ворот) – но и после этого стоять пришлось еще очень долго, так что ноги мои уже онемели и весь этот тягостный день все более тяжким грузом давил на плечи. Напрасно пытался я искать глазами наших ребят: вокруг были сплошь незнакомые лица. Слева от меня оказался высокий, толстый, немного странный человек, который все время бормотал что-то себе под нос и ритмично раскачивался верхней частью тела; справа же – кто-то, скорее приземистый и плечистый: этот скрашивал тягучее ожидание тем, что время от времени сплевывал сквозь зубы, стараясь попасть в какую-то, одному ему ведомую точку на пыльной земле. Этот сосед, справа, тоже посмотрел на меня, сначала бегло, потом более пристально, изучающе; глаза

у него были немного раскосыми и блестели, как пуговицы. Я, в свою очередь оглядев его, обратил внимание на его смешной, маленький, почти бесформенный нос и лихо сдвинутую набок шапку. «Ну и откуда ты такой?» – поинтересовался он, повернувшись ко мне в третий раз, и тут я заметил, что у него, кроме всего прочего, еще и передних зубов нет. Когда я сказал, что из Будапешта, он очень оживился: а что, Кольцо-то еще на месте, и шестой трамвай там все еще ходит, как он его «напоследок оставил»? Я ответил, что да, мол, пока на месте; он выглядел крайне довольным. Потом он полюбопытствовал, каким образом меня «занесло в эти края». «Очень просто: сняли с автобуса», – сказал я. «И что дальше?» – не успокаивался он, и я ответил: а дальше сюда вот привезли. Он вроде бы чуть-чуть удивился, словно не вполне ясно представлял себе, что происходит у нас дома, и я собрался было спросить у него... но не успел, так как в этот самый момент получил увесистую затрецину.

Я, кажется, уже сидел на земле, когда до меня дошел звук удара и я ощутил, как горит левая половина лица. Передо мной стоял кто-то, с головы до ног одетый в черный костюм для верховой езды, в черный берет, какие носят художники, с густыми волосами под беретом и узкими черными усиками на смуглой коже; еще я почувствовал какой-то удивительный сладковатый запах: никаких сомнений, это был аромат настоящих духов. В его злобном, но невнятном крике я смог уловить только повторенное несколько раз слово «Ruhe», то есть «тихо». Что говорить, он явно был привилегированным заключенным, причем весьма высокого ранга, о чем говорили и аристократический номер с небольшим количеством цифр, и зеленый треугольник

с буквой Z[24], и серебряный свисток на металлической цепочке, болтавшийся на груди, ну и, наконец, далеко видные белые буквы LD на рукаве. Несмотря на все это, я сильно разозлился, поскольку не привык, чтобы меня били: пусть сидя на земле и лишь гримасой, но я совсем не старался скрыть своей ярости – в тот момент мне было плевать, кто он, этот человек, ударивший меня. И, думаю, он это увидел: во всяком случае, я заметил, что – хотя орать он не переставал – взгляд его больших, темных, с маслянистым блеском глаз мало-помалу становился все мягче, и в конце концов в них появилось такое выражение, будто он оправдывался передо мной; в то же время он внимательно оглядел меня с головы до ног, и почему-то под этим взглядом я чувствовал себя неловко и неприятно. Потом, с той же скоростью, с какой появился, он умчался, расталкивая людей, которые и без того уступали ему

дорогу. Вскоре после того, как я поднялся на ноги, сосед справа опять повернулся ко мне и спросил: «Ну что, больно?» Я ответил, намеренно не понижая голос: «Ни капельки». – «Тогда, – сказал он, глядя на меня, – лучше, если ты вытрешь нос». Я потрогал нос и губы: в самом деле, на пальцах у меня была кровь. Он показал, как надо задрать голову, чтобы остановить кровотечение; а на счет человека в черном бросил лишь замечание: «Цыган, – и потом, после некоторого размышления, добавил: – Парень – гомик, ясное дело». Я не совсем понял, что он хочет сказать, и поинтересовался, что такое «гомик». Он тихонько посмеялся и объяснил: «Ну, голубой, значит. Гомосексуалист». С этим мне было проще: я примерно представлял, что это такое. «А вообще, – заметил он, протягивая мне руку, – я Банди Цитром»; я тоже сказал ему свое имя.

В дальнейшем я узнал от него, что попал он сюда из трудовых лагерей. Его призвали, как только началась война: ему как раз исполнился двадцать один год, и он по всем статьям: по возрасту, по национальности, по здоровью – как нельзя лучше подходил для выполнения трудовой повинности; с тех пор, уже четыре года, он ни разу не был дома. Побывал он и на Украине, где занимался разминированием. «А с зубами-то что у тебя?» – спросил я. «Выбили», – кратко ответил он. Теперь пришла моя очередь удивляться. «Как так?..» Но он лишь сказал, что это «длинная история», и не захотел вдаваться в подробности. Упомянул только, что «поцапался со взводным»; тогда же, среди прочего, ему и нос перебили – вот и все, что мне удалось узнать. О том, как обезвреживал мины, он тоже не слишком распространялся: тут лопата нужна, да кусок проволоки, ну и, конечно, удача – больше он ничего не объяснял. Короче говоря, когда венгерских солдат на передовой сменили немцы, от их «штрафной роты» оставалось всего несколько человек. Приходу немцев они обрадовались, поскольку им сразу же обещана была легкая работа и хорошее обращение. А потом их посадили в поезд, и они очутились в Освенциме.

Мне хотелось еще о многом его расспросить, но тут вернулись три человека, которых мы, видно, и ждали. До этого, минут десять назад, из всего, что происходило, я уловил одно имя: сразу несколько голосов где-то впереди закричали хором: «Доктор Ковач!» И тогда откуда-то из рядов скромно, даже стеснительно, как бы лишь подчиняясь общей воле, появился полноватый человек с мягким лицом, с безволосой – по бокам стриженной наголо, на макушке же просто лысой – головой; еще двоих он указал сам. Они, все трое, куда-то ушли с человеком в черном, и сюда, в задние ряды, лишь с некоторым опозданием дошла весть, что мы, собственно, только что выбрали старосту

нашего блока (Blockaltester), а также Stubendienst[25], или – как я перевел Банди Цитрому, который в немецком был не силен, – «дневальных». Теперь они лишь собирались обучить нас паре команд и действиям, которые надо выполнять

по этим командам, потому что – предупредили их, а они нас – больше с нами никто возиться не станет. Некоторые из этих команд: «Achtung!», «Mutzen... ab!»,

«Miitzen... auf!»[26] – я уже знал по предшествующему опыту; но были и новые: «Korrigiert!», то есть «Поправить!» – имеется в виду, само собой, шапку, – а также «Aus!», на что следовало быстро, с хлопком – так нам объяснили – «опустить руки к ногам». Все это мы повторили, для практики, несколько раз. У старосты блока – узнали мы – есть еще одна важная обязанность: отдавать рапорт начальству; он и рапорт этот, прямо там, перед нашим строем, прорепетировал несколько раз, причем немецкого офицера изображал один из «денщиков», коренастый рыжий детина с лиловыми пятнами на щеках. «Block funf, – слышались слова старосты, – ist zum Appel angetreten.

Es soll zweihundert funfzig, es ist...»[27] – и так далее; откуда я узнал, что я, выходит, отношусь к пятому блоку, численность обитателей которого – двести пятьдесят человек. Еще несколько попыток – и староста с помощниками решили, что все ясно, понятно и выполнимо. Снова последовали минуты тягостного безделья; я тем временем обратил внимание, что на пустыре, справа от нашей палатки, тянется какая-то насыпь, на ней укреплен длинный

шест, а за ней угадывается какая-то глубокая канава; я спросил Банди Цитрома, что это за штука. «Латрина», – сказал тот сразу, бросив туда лишь взгляд. И, обнаружив, что я этого слова не знаю, насмешливо покачал головой: «Ты, видно, до сих пор за мамкину юбку держался». Однако после этого коротко и выразительно объяснил то, чего я не понимал. И даже добавил еще кое-что, что я постараюсь передать точно: «В общем, вот засрем эту яму доверху, тут и свобода придет». Я засмеялся, но его лицо оставалось серьезным: можно было подумать, что это его убеждение, чтоб не сказать – твердое намерение. Однако подробнее высказаться на эту тему он не успел: со стороны ворот вдруг появились три немецких офицера; они приближались, строгие, подтянутые, шагая без всякой спешки, но совершенно уверенно, как бы по-домашнему, и в следующий момент староста нашего блока, с каким-то новым, старательным, даже визгливым оттенком в голосе, оттенком, которого я во время репетиции ни разу от него не слышал, закричал: «Achtung!», «Mutzen... ab!» – и тут же, как все, в том числе и я, тоже, само собой, сорвал шапку с головы.

6

Только в Цейце я осознал, что в заключении тоже есть будни; более того, настоящее заключение – это, собственно говоря, сплошные серые будни. Я как будто уже был однажды в подобном положении, причем даже знаю, когда именно: в поезде, на пути в Освенцим. Там тоже все сводилось ко времени; ну и – для каждого из нас – к тому, на что он способен, умеет ли он перетерпеть ток времени. Вот только в Цейце – уж не стану отступать от своего примера – мне пришлось ощутить: поезд остановился. С другой стороны – и это тоже чистая правда, – он несся с такой скоростью, что я не успевал следить за стремительными изменениями, происходившими вокруг меня и во мне самом. Одно, по крайней мере, могу сказать: я проделал весь этот путь, от начала до конца, и честно старался использовать каждый шанс из тех, что встречались на этом пути.

Во всяком случае, за новое дело везде, даже в концлагере, в первый момент берешься с самыми лучшими намерениями; я, во всяком случае, на собственном опыте пришел к выводу: для начала достаточно стать хорошим заключенным, а будущее покажет, как быть дальше. Такой линии я старался держаться, и точно так же поступали, по моим наблюдениям, все остальные. Само собой, я быстро заметил, что те лестные мнения, которые я слышал о трудовых лагерях еще в Освенциме, наверняка опираются на несколько приукрашенную информацию. Однако составить совершенно точное представление о том, в какой мере она, эта информация, приукрашена, ну и, главное, о последствиях, которые вытекают отсюда, я смог не сразу – да это и невозможно было, – опять-таки точно так же, как не смогли этого сделать другие, даже смело могу сказать: все другие, то есть примерно две тысячи заключенных, которые содержались в нашем лагере, – исключая самоубийц, само собой. Но самоубийц было мало, и то, как они поступали, не могло считаться правильным, а тем более примером для подражания, это все признавали. До меня тоже изредка доходили слухи о таких случаях, я слышал, как люди их обсуждают, высказывают свои мнения: одни открыто не одобряют, другие склонны понять, знакомые сожалеют – однако в общем и целом люди всегда воспринимают их так, как и принято, собственно, воспринимать и судить весьма редкие, далекие от нас, в какой-то мере с трудом поддающиеся объяснению, немного, может быть, легкомысленные, немного, может быть, даже достойные уважения, но в любом случае слишком поспешные, непродуманные решения.

Самое главное – не опускать руки: ведь всегда как-нибудь да будет, потому что никогда еще не было, чтоб не было никак, – учил меня Банди Цитром, а его этой мудрости научили еще трудовые лагеря. В любых условиях первое и самое важное дело – умыться (параллельные ряды желобов, над ними – трубы с отверстиями, все это под открытым небом, на той стороне лагеря, которая выходит к шоссе). Столь же жизненно важно разумно распределить дневной паек. Хлеба, каким бы жестоким и трудным ни было для нас такое самоограничение, должно хватать на утренний кофе, а еще кусочек – несмотря на то что все твои помыслы устремлены к карману, где притаился он, этот кусочек, да и рука, вопреки всем усилиям воли, всем доводам разума, то и дело как бы сама направляется туда же, – чтобы кусочек его сохранился и на обеденный перерыв: так, и только так, можно спастись, например, от мучительной мысли, что тебе нечего есть. О том, что выданные нам тряпицы, которые я до сих пор считал носовыми платками, на самом деле есть не что иное, как портянки; что на вечерней поверке и на марше самое безопасное место – середина шеренги; что при раздаче баланды надо стремиться быть не в числе первых, а скорее в конце очереди, потому что, как можно предвидеть, черпак раздатчика к концу берет варево с самого дна котла, там, где оно погуще; что черенок ложки с одного края можно расплющить и заточить, как ножик, – все эти, и еще многие другие хитрости, невероятно полезные в житье-бытье заключенного, я узнал или подглядел у Банди Цитрома, стараясь пользоваться ими так же, как он.

Скажи мне кто-нибудь прежде, я ни за что бы, наверное, не поверил – хотя это истинный факт, – что определенный распорядок жизни, возможность равняться на определенные положительные примеры, по всей видимости, нигде не играют такой важной роли, как в заключении. Достаточно хотя бы потолкаться немного возле блока номер один, где обитают в основном старожилы. Желтый треугольник на их робе сообщает о них все существенное, буква «L» же в нем попутно выдает то обстоятельство, что они попали сюда из далекой страны Латвии; точнее – из города Риги. Среди них я и увидел те странные существа, которые поначалу меня даже слегка озадачили. На расстоянии все они выглядели древними старцами: торчащий нос, голова втянута в плечи, грязная полосатая роба висит на острых плечах, как на вешалке; даже в самые знойные летние дни они напоминали озябших зимних ворон. В каждом их неуверенном, лунатическом шаге словно таился вопрос: а, собственно, стоит ли он, этот шаг, таких невероятных усилий? Эти ходячие вопросительные знаки – хоть на фигуру глянь, хоть на объем (толщины у них, можно

сказать, совсем не было), по-другому я описать их не могу – назывались в лагере «мусульманами», как я скоро узнал. Банди Цитром сразу предостерег меня: держись от них подальше. «На такого посмотришь – и повеситься хочется», – сказал он, и в словах его была большая доля истины, хотя со временем я убедился: для того чтобы повеситься, нужно еще многое другое.

Ну и, превыше всего, тут необходимо было упрямство; пусть в разных формах, но с уверенностью могу сказать: в Цейце его хватало, и, как я замечал, иногда оно очень помогало. Примером могла служить хотя бы та странная компания (или тайное общество, или порода – уж не знаю, как их и назвать), один из образчиков которой – он стоял в шеренге слева от меня – удивил меня по прибытии в Цейц; Банди Цитром и о них немало мне порассказал. От него я, скажем, узнал, что зовут их у нас «финнами». В самом деле, если спросить у кого-нибудь из них, откуда он, то ответ будет – если он сочтет тебя достойным ответа, – например: «финн Минкач», что значит: «из Мункача»; или: «финн Шадарада», и значит это – попробуйте угадать! – «из

Шаторальяуйхея»[28]. Банди Цитрому этот народец знаком был еще по трудовым лагерям, и мнения он о них весьма невысокого. На работе, на марше, на поверке – они везде бросаются в глаза: стоя рядом с другими, они ритмично раскачивают верхнюю половину тела и без устали, словно отбывая какое-то пожизненное наказание, бормочут, бормочут, бормочут свои молитвы. Если ты вдруг услышишь, что кто-то из них краем губ прошепчет: «Ножик продается», не слушай его. Тем более не слушай, как это ни соблазнительно, особенно утром, если он скажет: «Суп продается», потому что, как это ни странно, суп они не употребляют, не употребляют и перепадающий иной раз заключенным «вурст», как не употребляют ничего, что не соответствует предписаниям их религии. Но чем же они живы? – спросишь ты, и у Банди Цитрома готов на это ответ: не бойсь, эти не пропадут. И в самом деле, они живы и никуда не пропадают. В общении меж собой и с латышами они пользуются идишем, но владеют еще немецким, словацким и еще Бог знает какими языками; только венгерским не владеют – если только идет речь не о коммерции, само собой. Однажды – я никак не мог этого избежать – случай привел меня в их команду.

«Редс ди идиш?»[29], – был их первый вопрос. Когда я ответил, мол, к сожалению, нет, я перестал для них существовать, они списали меня, они не видели меня в упор, я был менее значим для них, чем воздух. Я пытался завести разговор, обозначить себя – никакого толку. «Никакой ты не еврей, ты – гой», – говорили они на идише, тряся головами, а я не мог уразуметь, как это люди,

вроде бы разбирающиеся, в конце концов, в коммерции, так неразумно держатся за такую вещь, которая им, если смотреть конечный результат, приносит куда больше вреда, или, если угодно, затрат, чем выгоды. Тогда, в тот день я почувствовал, что, когда я нахожусь среди них, мною время от времени овладевает, знакомое еще по прежней, домашней жизни, ощущение неудобства, какая-то – до зуда на коже – неловкость: словно у тебя что-то не в порядке с одеждой, словно ты не соответствуешь какой-то общепринятой норме; короче говоря, среди них я чувствовал себя как-то так, будто я еврей, – и это все-таки, как ни кинь, было немного странно: ведь в конце концов я находился не где-нибудь, а в концентрационном лагере, вместе с другими евреями.

Иногда меня несколько удивлял Банди Цитром. На работе, в перерывах, я часто слышал – так что и сам скоро выучил, – как он напевает свою любимую песню, которую принес с собой из трудовых лагерей, из штрафного батальона. «На зем-ле на ук-ра-инской мины раз-ря-жаем. / Не дро-жим и не тря-сем-ся, трусости не зна-ем», – так начиналась эта песня; особенно же мне нравился последний куплет. «Если друг спот-кнет-ся, кровью за-хлеб-нет-ся, / По-ле-тит печальной птицей/Вес-точ-ка до до-му./Что бы нас ни жда-ло, / Пла-кать не при-ста-ло: / Мы тебе верны до гро-ба, Вен-грия род-ная» – так звучал этот куплет. Красивая, грустная была песня, и мелодия – жалостная, печальная, под нее не запляшешь, да и слова были какие-то такие, что и меня задевали, – правда, заставляли вспомнить того жандарма, который, еще в том, первом поезде, крикнул нам в окно, что мы – тоже венгры; в конце концов, тех, кого в трудовые лагеря забрали, если уж говорить начистоту, родина наказала за что-то. Однажды я и Банди об этом сказал. Он не нашел что возразить, но выглядел немного смущенным и раздраженным. А на другой день, глубоко о чем-то задумавшись, снова принялся насвистывать эту песню, потом запел ее потихоньку, словно забыл обо всем. Была у него еще одна мысль, которую он часто повторял: придет, мол, время, будет, будет он еще «топтать тротуар на улице Незабудка»: дело в том, что там, на улице Незабудка, был его дом, и улицу эту, да и номер дома он поминал столько раз и по стольким поводам, что мне в конце концов тоже стало казаться, что меня туда тянет неудержимо; хотя в моей памяти это была просто занюханная улочка где-то в окрестностях Восточного вокзала. Вообще, когда мы разговаривали с Банди, он часто вспоминал всякие будапештские места, площади, переулки, дома, вспоминал, как по вечерам на крышах и в витринах загорались разные рекламные надписи и объявления: он называл это – «огни Будапешта»; тут уж, ничего не поделаешь, мне приходилось его поправлять, объяснять, что

никаких таких огней больше нет, их не включают из-за затемнения, да и бомбардировки, чего скрывать, кое-где изменили-таки облик города. Он внимательно слушал, но я видел, ему как-то не по душе эти мои объяснения. И на другой день, как только появлялся повод, опять принимался говорить про «огни Будапешта».

В состоянии ли сказать кто-нибудь, сколько существует на свете всяких видов упрямства? Вот и в Цейце я мог выбирать – если бы в самом деле мог – из множества вариантов: здесь каждый был упрям по-своему. Я слушал, что говорят люди о прошлом, о будущем, а главное, много, очень много – признаюсь, нигде больше я не слышал об этом так много, как здесь, среди лагерников, – о свободе; и это, кажется мне, в конце концов очень даже объяснимо. Другие находили какую-то своеобразную радость во всяких шутках и прибаутках, в анекдотах. Я, естественно, тоже все это слушал. Есть в лагерном дне один час, который приходится на время между возвращением с завода и вечерней поверкой, – час особый, наполненный тихим движением, пронизанный ощущением свободы, – его я всегда ждал с нетерпением и любил больше всего; кстати сказать, это одновременно был и час ужина. Однажды я куда-то спешил через двор, огибая кучки оживленно беседующих, занятых куплей-продажей людей, – и вдруг кто-то почти налетел на меня. Из-под сползающей на лоб шапки на меня смотрели маленькие, тревожные глаза; на характерном лице торчал еще более характерный нос. «Ух ты», – произнесли мы почти одновременно: он узнал меня, а я узнал его: это был Невезучий. Он мне, по-видимому, очень обрадовался и сразу спросил, где я живу. Я сказал: в пятом блоке. «Жаль», – погрустнул он; сам он обитал где-то совсем в другом месте. Он пожаловался, что «не встречает тут знакомых», а когда я ответил, что тоже не вижу никого, он, не знаю, почему, погрустнул еще больше. «Да, разбросало нас, разбросало», – сказал он уныло, вкладывая в эти слова какой-то, не очень понятный мне смысл, и долго качал головой. Потом лицо его вдруг посветлело. «А ты знаешь, что означает буква «U»?» И он показал себе на грудь, на желтый треугольник. «Конечно, – ответил я. – Ungarn, Венгрия».

– «Да нет, – сказал он. – Это значит: Unschuldig, невиновный». И коротко рассмеялся, а потом опять долго и задумчиво качал головой, но лицо у него было таким, словно мысль о собственной невиновности доставляет ему немалую радость; ума не приложу почему. Интересно, что совершенно такое же выражение я видел на лицах и у других, от которых слышал потом в лагере (поначалу довольно часто) эту шутку: она будто согревала их, давала какую-то силу, – об этом, по крайней мере, можно было судить и по всегда одинаковому смешку, который неизменно сопровождал

ее, и по размягченному выражению лица, и по страдальческой, но одновременно просветленной улыбке, с какой люди произносили и воспринимали эту незамысловатую остроту; подобное выражение появляется на лице у человека, когда он наслаждается милой его душе музыкой или слушает какую-нибудь трогательную, берущую за сердце историю.

Тем не менее и в этих людях я видел все то же стремление, все то же благое намерение: они были полны желания выглядеть в глазах начальства хорошими заключенными. Что тут скажешь: это ведь было в их интересах, этого требовали условия, к этому принуждала их, так сказать, сама жизнь. Если порядок в строю был безупречным, а численность совпадала с исходной, то, например, проверка заканчивалась раньше – по крайней мере, в первое время. Если ты прилежно работал, то мог, например, надеяться избежать побоев – по крайней мере, в большинстве случаев.

И все же, особенно поначалу, не одна лишь эта прямая выгода, мне кажется, не только такой расчет определяли мысли и поведение всех нас: это я говорю честно, ничуть не кривя душой. Возьмем хотя бы, чтобы не ходить далеко за примером, работу; точнее, первый день работы, послеобеденный период: мы должны были разгрузить вагон щебня. Когда Банди Цитром – само собой, с разрешения конвойного, на сей раз немолодого и на первый взгляд довольно добродушного солдата – предложил нам раздеться до пояса (я тогда впервые увидел его желтовато-смуглую кожу с перекатывающимися под ней большими, гладкими мускулами и темное родимое пятно под левой грудью) и сказал: «Ну что, братцы, покажем им, на что способны пештские парни!» – он говорил это вполне серьезно. И могу сказать, что, хотя я впервые в жизни держал в руках железные вилы, однако и наш конвойный, и порой заглядывающий к нам, внешне похожий на мастера, наверняка присланный с завода человек выглядели весьма довольными, что, само собой, еще больше разжигало наш пыл. Когда же через некоторое время в ладонях у меня возникло какое-то жжение и я, взглянув на свои руки, увидел, что основание пальцев у меня все в крови, а конвойный в

этот момент спросил: «Was ist denn los?[30]» – и я со смехом показал ему ладонь, он, сразу помрачнев и передернув ремень винтовки, буркнул:

«Arbeiten! Aber los![31]» – тут, в конце концов тоже вполне естественно, мое внимание сосредоточилось совсем на другом. С этой минуты я был занят лишь тем, чтобы уловить момент, когда конвойный будет смотреть в другую сторону и я смогу сделать хоть какую-то передышку, набирая на лопату или на вилы как можно меньше щебня, – и, должен сказать, со временем я в таких

хитростях весьма преуспел, приобретя в этом деле куда больше опыта, мастерства и практики, чем в любой работе, которую выполнял. Но, в конце концов, кому от этого польза? – однажды такой вопрос, помню, задавал еще Эксперт. Утверждаю: что-то было здесь не так, что-то мешающее работе, какая-то огромная ошибка, какой-то непоправимый порок. Ведь одно лишь словечко,

проблеск, знак одобрения, пускай изредка, не похвала, а всего лишь намек на похвалу – меня, во всяком случае, воодушевили бы куда больше. Чего нам, если подумать, лично нам, лагерникам и этому конвоиру-солдату, было сердиться или обижаться друг на друга? Да и тщеславие, в конце концов, остается при нас даже в лагере; и у кого, пускай в самой глубине души, не живет потребность хоть в капельке теплоты? Ведь разумным, убедительным словом можно достичь куда больше, так мне казалось.

Но даже подобные мысли, подкрепленные удручающим опытом, в основном еще не способны были поколебать моего настроения на то, чтобы быть хорошим. Даже поезд, если смотришь вперед, как-никак, а движется к цели, и цель эта где-то, пускай далеко, но брезжит перед тобой. В первый период, в золотые времена, как мы потом называли их с Банди, концлагерь Цейц, при должном соблюдении правил и при некоторой удачливости, представлялся вполне терпимым местом – пусть временно, пусть лишь до того момента, само собой, пока будущее не избавит тебя от подобных иллюзий. Два раза в неделю – полпорции хлеба, три раза – треть; четверть – всего лишь дважды. Довольно часто – Zulage. Раз в неделю – вареная картошка (шесть картофелин, отсчитанные в шапку; тут уж Zulage, понятное дело, не полагается); раз в неделю – молочная лапша. Росистое летнее утро, ясное небо, горячий кофе быстро заставляют забыть тягостную досаду раннего подъема (в такие моменты важно как можно быстрее справиться со своими делами у отхожей ямы, потому

что очень скоро прозвучат команды: «Appel!», «Antreten!»[32]). Утренняя поверка, правда, много времени обычно не занимает: в конце концов, работа ждет, работа торопит. Одна из боковых проходных завода, которой пользуемся и мы, заключенные, находится в десяти—пятнадцати минутах ходьбы от нашего лагеря: чтобы попасть к ней, надо свернуть с шоссе влево и идти прямо по песчаному пологому склону. Уже издали мы слышим гул, скрежет, брэнчание, тяжелые вздохи, трех-четырёхтактное прокашливание железных глоток: завод приветствует нас; с лабиринтом его улиц, переулков, перекрестков, с маячащими над ним подъемными кранами, дымовыми трубами, с грызущими землю машинами, с переплетением рельсов, вздымающимися в небо

трубами, градирнями, сетью трубопроводов завод этот – настоящий город. Множество ям, канав, развалин и осыпей, хаос вывороченных из земли труб и кабелей, похожих на выпущенные кишки, – все это следы авианалетов. Завод – это я узнал в первый же обеденный перерыв – называется «Braun-Kohl-Benzin

Aktiengesellschaft»[33], сокращенно «Brabag»; «Аббревиатуру эту когда-то регистрировали на бирже», – как-то услышал я здесь, и мне даже показали толстого человека – натужно сопя и далеко отставив локоть, он как раз

вытаскивал из кармана хлебный огрызок, – от которого исходила эта информация и о котором потом, не без некоторой веселой иронии, в лагере много говорили – хотя от него самого я такого ни разу не слышал, – что когда-то и он был владельцем нескольких акций. Еще я слышал – да и запах, что стоял здесь, сразу заставлял вспомнить нефтеперегонный завод на острове Чепель, – что здесь тоже производят бензин, но производят каким-то хитрым способом: не из нефти, а из бурого угля. Это показалось мне интересным, но я понимал, что ждут от меня, само собой, не моего мнения, интересно это или нет, а чего-то совсем другого. Одним из самых волнующих

для нашего брата был вопрос о том, в какую Arbeitskommando[34] ты угодишь. Иные лагерники предпочитают работать заступом, другие – кайлом, третьи клянутся, что лучше всего – прокладывать кабели, четвертые норовят попасть к бетономешалкам, и кто знает, что за тайные причины, что за подозрительные предпочтения заставляют пятых тянуться к канализационным работам, целыми днями стоять по пояс в желтой жиже или в черной нефтяной массе, хотя в наличии такой причины мало кто сомневается, поскольку чаще всего тут фигурируют латыши-«мусульмане», ну и еще их единомышленники, «финны». Летящая откуда-то с высоты, сладостно-грустная, долгая и манящая мелодия команды «antreten» раздается лишь раз в день: вечером, когда наступает час

возвращения домой. В толкотне вокруг умывален Банди Цитром, издав боевой клич: «Мусульмане, потеснись!», освобождает немного пространства для нас двоих, и нет такой части тела, которую мне удалось бы укрыть от его строгого контроля. «Инструмент тоже помой, а то вши заведутся!» – говорит он, и я, смеясь, подчиняюсь ему. После умывания начинается тот самый час: час мелких забот, шуток, жалоб, встреч, бесед, сделок, обмена слухами, час, которому кладут конец лишь радующее душу погромыхивание котлов и сигнал, каждого срывающий с места и побуждающий к

быстрым действиям. Потом: «Arrel! [35]» – и тут уж только вопрос удачи, надолго ли. Но проходит час, два, ну, самое большее – три (тем временем уже и прожектора включились), и – торопливый бег по узкому проходу внутри палатки, с двух сторон которого находятся четырехъярусные ряды коробок, на здешнем языке – «боксы», спальня места. Потом какое-то время вся палатка – сплошной полумрак и шепот: это час рассказов и разговоров о прошлом, о будущем, о свободе. И тут ты узнаешь: оказывается, там, дома, каждый был безмерно счастлив, а еще, чаще всего, богат. Ты узнаешь, кто и что ел обычно на ужин, а иной раз и другую, определенную свойства информации, которой доверительно любят делиться друг с другом мужчины. Кто-то, например, утверждал – позже я никогда больше такого не слышал, – что в баланду

подмешивают, по известной причине, какое-то успокоительное средство, кажется «бром», – так, по крайней мере, считают лагерники помоложе, и лица у них при этом многозначительные и немного загадочные. Банди Цитром в такие моменты обязательно вспоминал улицу Незабудка, огни Будапешта и – тоже главным образом в первое время, и тогда мне, само собой, поддерживать разговор было трудно – «пештских бабенок». А однажды мое внимание привлекло приглушенное бормотание, тихое, протяжное, сопровождавшееся странным напевом, и, повернувшись к источнику этих звуков, я увидел в одном из углов слабое мерцание свечи, и кто-то сказал, что сейчас вечер пятницы и что там – священник, вернее, раввин. Я пробрался по верхним ярусам, чтобы взглянуть, что там происходит: в самом деле, в группе людей я увидел его, раввина, которого знал еще с Будапешта. Службу он проводил, конечно, в лагерной робе и шапке, да я и недолго его слушал: мне хотелось не молиться, а спать. Мы с Банди Цитромом обитаем на самом верхнем ярусе. Свой бокс делим еще с двумя парнями: оба – молодые, веселые и, как и мы, будапештцы. Вместо матраса у нас – доски, на досках – немного соломы, поверх нее – мешковина. Одеяло – одно на двоих, но летом, в конце концов, и это – больше, чем надо. Места у нас не то чтобы очень много: если я повернусь, должен поворачиваться и сосед; если он подтянет колени к груди, приходится подтягивать колени и мне. Однако спим все равно крепко, и сон заставляет все позабыть – в самом деле, золотые это были денечки.

Изменения я заметил несколько позже – прежде всего это относилось к размеру хлебной пайки. Я мог – мы могли – лишь гадать, куда так безвозвратно ушли времена, когда нам еще выдавали по половине черной, как грязь, маленькой булки: на смену ей необратимо пришла пора третей и четвертушек, да и Zulage ушли в

область воспоминаний. Именно тогда поезд стал замедлять ход, готовый вот-вот остановиться совсем. Я еще пытался смотреть вперед, но взгляд мой проникал только до завтра, а завтра будет опять точно такой же день, как сегодня; если, конечно, повезет. Все меньше и меньше оставалось во мне желания жить, все меньше и меньше энтузиазма; каждое утро я вставал чуть-чуть с большим трудом, каждый вечер засыпал, чуть-чуть более усталый, чуть-чуть более голодный. Я чуть-чуть принужденнее двигался, все становилось как-то тяжелее и тяжелее, даже сам я был себе в тягость. Смело могу сказать: мы уже далеко не всегда были хорошими заключенными, и признаки этого быстро стали заметны и на солдатах, и на наших привилегированных сотоварищах, среди которых на первом месте, хотя бы уже по своему положению, был, конечно, староста лагеря, Lageraltester.

Он по-прежнему, всегда и везде, появляется весь в черном. Утром свистком подает сигнал к подъему, вечером расследует происшествия, если таковые были; об апартаментах его, где-то там, у ворот, ходит много невероятных слухов. По языку он – немец, но по крови – цыган (между собой мы только так и зовем его – Цыган), и это первая причина, почему он оказался в концлагере; вторая причина – то отклонение от нормы в природных наклонностях, которое Банди определил в нем с первого взгляда. Что же касается зеленого треугольника на груди, то цвет этот предупреждает о том, что Цыган убил и ограбил даму, которая была старше его и, говорят, весьма богата, а он, говорят, был у нее на содержании; так что я впервые в жизни видел собственными глазами настоящего грабителя и убийцу. Тем не менее его задача – блюсти закон, а работа – поддерживать в лагере порядок и справедливость: не очень-то это звучало логично, так все считали, и я в том числе. С другой стороны, однако, я не мог не признать, что в определенных условиях оттенки очень даже легко перепутать. Например, у меня лично больше проблем возникало с одним из помощников старосты блока, хотя он был человеком безупречной честности. Потому и голосовали за него те, кто хорошо его знал, – те же, кто выбирал и старосту, доктора Ковача (звание «доктор» здесь, как мне объяснили, означает не врача, а адвоката): люди рассказывали, что все они – из одного места, из села Шиофок, что стоит на берегу прекрасного Балатона. Этот помощник – тот самый человек, которого я сразу заметил: он рыжий, и зовут его – все знают – Фодор. Так вот: правда это или нет, но все в один голос утверждают, что Lageraltester палку или кулак пускает в ход потому, что это – по крайней мере, так народ в лагере говорит

– доставляет ему какое-то особое удовольствие, вроде того – высказывали догадку люди опытные, – которое он ищет у мужчин, у мальчиков, а иной раз и у женщин. У этого же, у помощника старосты блока, Stubendienst'a, порядок – не предлог, а настоящее условие жизни, и если он по необходимости – никогда не забывает он подчеркнуть – поступает подобным образом, то делает это исключительно в общих интересах. С другой стороны, правда, порядок, он никогда не бывает полным, и чем дальше, тем меньше. Потому и вынужден помощник старосты так часто длинным черенком своего черпака наводить порядок в очереди лезущих к котлу людей, вследствие чего ты легко можешь попасть – если до сих пор не потрудишься усвоить, как полагается подходить к котлу, как подставлять миску к предназначенному для этого краю, – в число пострадавших, из чьих рук миска в два счета вылетит вместе с супом, ибо – ясное дело, и одобрительный гул у него за спиной подтверждает это – своей недисциплинированностью ты затрудняешь его работу, а значит, задерживаешь остальных, следующих по очереди; потому и стаскивает он по утрам с нар за ноги засонь: ведь за опоздание одного наказание несут, в конце концов, остальные, ни в чем не повинные. Различие – это и я понимал – следует искать, само собой, в мотивах, в различии намерений; однако в какой-то определенной точке, повторяю, такие оттенки могут и размываться, и результат, как я убеждался, с какой стороны ни смотри, будет один и тот же.

Кроме них, был тут, с желтой повязкой на рукаве и в полосатой робе, всегда безупречно выглаженной, еще и немец капо, которого я, к счастью, видел редко; потом, к огромному моему изумлению, и в наших рядах стали мелькать черные нарукавные повязки, на которых стояла более скромная

надпись: «Vorarbeiter»[36]. Я однажды стал очевидцем, как один обитатель нашего блока, до тех пор редко привлекавший мое внимание, да и в глазах остальных, насколько я помню, не особенно известный и не пользовавшийся уважением, хотя в общем человек довольно напористый и крепко сбитый, первый раз появился перед нами, во время ужина, с новенькой повязкой на рукаве. Однако теперь, я не мог этого не видеть, он уже не был прежним, никому не известным человеком: друзья, знакомые наперебой бросились к нему, со всех сторон к нему летели поздравления, слова восторга, пожелания успеха, тянулись для рукопожатия руки, он же некоторые принимал, отвечая на рукопожатия, другие, я видел, не замечал, и люди, отдернув протянутую руку, торопливо отходили в сторону. И лишь затем последовал самый торжественный – во всяком случае, в моих глазах – момент, когда он, окруженный общим вниманием и какой-то по-

чтительной, даже, я бы сказал, благоговейной тишиной, с достоинством подняв голову, без всякой спешки, без признака торопливости, в фокусе удивленных или заботливых взглядов, двинулся за второй порцией,

которая отныне полагалась ему – причем с самого дна котла – по рангу и которую Stubendienst на сей раз отмерил в подставленную миску движением, выразившим некое признание равноправия.

В следующий раз те же буквы бросились мне в глаза с повязки на рукаве человека с пружинистой походкой и выпуклой грудью: я сразу узнал в нем бывшего офицера, которого запомнил еще по Освенциму. Однажды я оказался под его началом – и, должен сказать, это чистая правда: за хорошего человека он душу выложит, что же касается дармоедов и любителей загребать жар чужими руками, то пускай они не рассчитывают у него на снисхождение, как он сам заявил перед началом работы. На другой день мы с Банди постарались потихоньку перебраться в другую бригаду.

И еще одна перемена бросилась мне в глаза, причем, что интересно, главным образом в людях посторонних: рабочих с завода, конвойных, ну, а из нашего брата разве что в некоторых привилегированных лагерниках, – я заметил, что они стали другими. Сначала я даже не совсем понимал, чем это объяснить: они стали какими-то очень красивыми – по крайней мере, в моих глазах. Лишь потом я, по некоторым признакам, догадался, в чем тут дело: изменились, само собой, мы, только мне труднее было это уловить. Глядя, скажем, на Банди, я ничего особенного в нем не видел. Но я попробовал сравнить его, нынешнего, с тем, каким помнил в день нашего знакомства, когда он оказался справа от меня в шеренге. Или когда увидел его в первый раз на работе, с бросающимися в глаза, как на рельефной карте какой-то холмистой местности, подвижными, то взбухающими, то разглаживающимися, пружинно сокращающимися или жестко твердеющими мускулами и сухожилиями, на которые я не мог смотреть без удивления. Лишь представив себе эту картину, я понял: время иной раз обманывает, судя по всему, даже наши глаза. Вот так, должно быть, этот процесс обошел мое внимание – хотя результат его поддается весьма точной оценке – в случае с целой семьей, семьей Кольманов. В лагере их знали все. Раньше они жили в местечке под названием Кишварда, откуда здесь, в лагере, еще много людей, и по тому, как они относятся к Кольманам, как говорят о них, я сделал вывод, что у себя дома это наверняка была почтенная, уважаемая семья. Здесь их трое: низенький, лысый отец и двое сыновей, которые на отца мало похожи, зато сами –

просто одно лицо (думаю, они пошли в мать): одинаковые голубые глаза, одинаковая светлая щетина на голове. Они трое – всегда вместе, а если есть хоть какая-то возможность, то еще и держатся за руки. И вот прошло какое-то время, и я заметил, что отец не поспевает за сыновьями и тем приходится его поддерживать, чуть ли не вести под руки. Прошло еще время, и отца больше не было видно, братья ходили на работу вдвоем. А вскоре старший брат стал тянуть за собой младшего. Потом младший тоже пропал, старший еле тащился, уже в одиночку; теперь и его я нигде не встречаю. Все это я, повторяю, замечал, однако вовсе не так, как потом, когда обдумал и подытожил, как бы прокрутил в уме, а постепенно, по крохам, вновь и вновь привыкая к каждой новой ступени – и потому как бы, собственно говоря, не замечая в целом. А ведь я, должно быть, и сам изменился: Кожевник, которого я в один прекрасный день увидел выходящим – выходящим очень по-свойски, как из дому, – из лагерной кухни (лишь после я узнал, что там, среди достойных всеобщей зависти авторитетов, допущенных к чистке картофеля, он сумел найти себе теплое местечко), он сначала никак не хотел меня узнавать. Я долго доказывал ему, что это я, Дюрка, из «Шелла»; потом я спросил, не найдется ли у него, раз он на кухне, чего-нибудь съестного, пускай хоть оскребышей из котлов. Он ответил, мол, ладно, посмотрит, и взамен ему ничего от меня не нужно, но вот нет ли у меня случайно сигаретки, потому что *Vorarbeiter* на кухне «с ума сходит по куреву», как он выразился. Я сказал, что сигарет у меня нет, и он ушел. Через некоторое время я понял, что ждать его бесполезно и что дружба – тоже не вечная вещь, что границы ей ставит сама жизнь с ее законами – вполне естественно, между прочим, ничего не скажешь. Был еще один случай, когда уже я не узнал одно странное создание: оно проковыляло мимо меня, как можно было догадаться, в сторону отхожего места. Полосатая шапка сползла ему на самые уши, лицо – сплошные провалы, бугры и углы, нос – желтый, на кончике его дрожит прозрачная капля. «Сутенер!» – окликнул я его; но он, даже не повернув головы, брел дальше, шаркая ногами, одной рукой поддерживая штаны, а я думал: вот тебе на, кто бы мог такое представить. И была еще одна встреча: этот человек был еще более желтым, еще более тощим, глаза его были еще больше, блестели еще более лихорадочно; но мне кажется, я не ошибся, это был Курилка. Как раз в это время возникло в рапортах старосты блока, на

Abend- и Morgenappel[37], выражение, позже ставшее постоянным, в нем только числа менялись: «Zwei im Revier», «Fünf im Revier» или «Dreizehn im

Revier»[38], и так далее; а потом появилось новое понятие – «Abgang», то есть «недостача», «убыток», «убыль». Нет, бывают, видимо, обстоятельства, когда никаких благих намерений уже недостаточно. Еще дома я в какой-то книге читал, что с течением времени, ну и при определенных усилиях, можно привыкнуть и к каторге, и к тюрьме. Это, по всей вероятности, так и есть, никаких сомнений: скажем, дома, в какой-нибудь нормальной, порядочной, так сказать, гражданской тюрьме, это в самом деле возможно. Вот только в концлагере, как подсказывает мой опыт, вряд ли для этого есть какие-то шансы. И – это касается меня, по крайней мере, – смело могу утверждать: ни в коем случае не из-за недостатка старания, ни в коем случае не из-за отсутствия доброй воли: беда в том, что здесь на это просто не дают времени.

Если говорить о бегстве, о выходе, то в концлагере для этого существуют три способа: я их видел, слышал о них или сам испытал. Что до меня, то я воспользовался первым и, может быть – допускаю, – самым скромным из них; да, есть в человеческом сознании сфера, где – я и в школе это учил – ты всегда остаешься полным и безраздельным хозяином. Истинный факт: воображение наше даже в рабстве остается свободным. Я, например, мог добиться, что, пока руки мои заняты лопатой или киркой, действуя экономно, расчетливо, обходясь лишь самыми необходимыми движениями, – сам я просто – напросто отсутствую в данном месте. Правда, воображение тоже не совсем безгранично или, по крайней мере, безгранично, как я мог заметить, лишь в определенных пределах. Ну да, я с одинаковыми усилиями мог, в конце концов, оказаться где угодно: в Калькутте, во Флориде, в любых, самых прекрасных уголках мира. Однако это было все-таки не вполне серьезно, себя я не в состоянии был, так сказать, убедить в этом – и потому чаще всего оказывался всего лишь дома, в Будапеште. Что говорить, такой вариант тоже требовал дерзости, и не намного меньше, чем, например, Калькутта; но здесь я уже что-то находил для себя, что, если быть скромным и не требовать слишком много, давало, я бы сказал, некоторую работу уму и сердцу, и работа эта уравнивала, а тем самым как бы в значительной мере оправдывала мои усилия. Например, я быстро пришел к выводу: неправильно я жил дома, плохо использовал там свое время, так что о многом, очень о многом приходится мне теперь, задним числом, жалеть. Так – не мог я первым делом не вспомнить, – была там еда, к которой я относился с пренебрежением, которую, поковырявшись в ней, отодвигал, просто потому, что не любил ее, и сейчас, когда я вспоминал такие моменты, это казалось мне бессмысленным, непоправимым упущением. Или взять глупую тяжбу между отцом и матерью – из-за моей персо-

ны. Когда я вернусь домой, думал я (думал вот так, в такой вот простой, как бы само собой подразумевающейся форме, даже не запнувшись ни на секунду, словно меня ничто, кроме вопросов, вытекающих из этого, самого что ни на есть естественного факта, не интересовало), – словом, когда я вернусь домой, этому, во всяком случае, будет положен конец, потому что в семье должен быть мир, – так я решил. Затем, было дома такое, из-за чего я нервничал и чего – как это ни смешно сейчас выглядит – даже боялся: скажем, некоторых уроков в школе, вернее, учителей, которые их вели, боялся, что меня вызовут к доске и окажется, что я ни на один вопрос не могу ответить, боялся отца, боялся того момента, когда мне придется отчитываться ему о своих плачевных успехах; сейчас я подолгу, в подробностях вспоминал свои страхи, просто чтобы развлечься, заново переживая их и посмеиваясь над ними. Но самое любимое мое занятие заключалось в том, чтобы представить, прожить дома целый день, без всяких пропусков и сокращений, с утра и по возможности до самого вечера, оставаясь все в той же роли скромного, не слишком требовательного участника. Ведь, в конце концов, вообразить какой-то исключительный, какой-то особо удачный день у меня, может быть, просто не хватило бы сил, – поэтому я, как правило, представлял себе плохой день, с подъемом на рассвете, школой, страхами, невкусным обедом, а все те возможности, которые тогда, в тех ситуациях, были упущены, даже, может быть, вообще не замечены, теперь, в концлагере, я исправлял и заново переживал на высочайшем уровне совершенства. Я слышал и раньше – и сам теперь мог подтвердить: действительно, даже тесные тюремные стены не способны подрезать крылья фантазии, ограничить ее полет. Одно было плохо: если воображение уносило меня так далеко, что заставляло даже забыть о собственных руках, то реальность, которая все-таки была тут, рядом, не уходя никуда, вновь спешила напомнить о себе и вступала в свои права посредством самых весомых, самых решительных аргументов.

В этот период в нашем лагере на утренней поверке число заключенных все чаще не соответствовало официальному – как, например, произошло и наемдни, рядом с нами, в блоке шесть. Каждый прекрасно знает, к чему приводят подобные случаи: ведь побудка в концлагере не разбудит только того, кого уже вообще нельзя разбудить, а такие – все налицо. Тут, однако, речь идет о другом способе бегства – и кто же не поддавался, хотя бы раз, хотя бы один– единственный разок, неодолимому искушению, кто способен был всегда оставаться нестигаемо волевым, особенно по утрам, когда ты просыпаешься, нет, не просто просыпаешься, а вспоминаешь, какой ждет тебя день, и слышишь, как шумит во-

круг тебя палатка, как суетятся, чтобы не опоздать на поверку, соседи? Нет, я тоже не относился к числу несгибаемых и обязательно сделал бы такую попытку, не будь рядом Банди, который каждый раз упорно приводил меня в чувство. В конце концов, думаешь ты сквозь сон, кофе – да черт с ним, с кофе, а к поверке ты все равно как-нибудь будешь в строю. Нет, ты, естественно, не остаешься на нарах: такие детские трюки здесь не проходят,

– ты встаешь, как положено, встаешь честно, встаешь, как все остальные, а потом... о, ты знаешь одно местечко, один абсолютно надежный угол, сто против одного, что там тебя никто не найдет – такой он надежный. Ты присмотрел его еще вчера, а может, и того раньше, он попал тебе на глаза случайно, у тебя с ним не было связано никаких планов, ты просто запомнил его про себя, так, абстрактно. И вот теперь ты о нем вспоминаешь. И забираешься, скажем, под нижние нары. Или находишь ту стопроцентную щель, тот закуток, ту надежную ямку. И зарываешься с головой в солому, в подстилку, в какие-то одеяла. Мысль, что к поверке ты будешь на своем месте, все время с тобой; повторяю, было время, когда я хорошо, очень хорошо это понимал. Более смелые даже, может быть, думают: из-за одного человека на поверке не будет шума, ну, мало ли, бывают, скажем, ошибки в счете, ведь все мы, в конце концов, люди; и мало ли, может, один-единственный отсутствующий сегодня – только сегодня, только сегодня утром – не бросится никому в глаза, а вечером – об этом-то ты позаботишься – состав будет полный; еще более дерзкие верят: где-где, а уж в этом надежном месте тебя никогда, никаким способом не найдут. Самые же отчаянные не думают ни о чем: они просто уверены – иной раз и я был такого же мнения, – что часок хорошего сна оправдывает любой риск и за него, в конце концов, не жаль заплатить любую цену.

Но час у них вряд ли будет: ведь утром все крутится очень быстро, и смотри-ка, уже спешно сформирована поисковая группа: возглавляет ее сам Lageraltester, весь в черном, свежесбрившийся, с молодцеватыми усами, в аромате духов, за ним по пятам следует немец капо, с парой старост блоков и их помощников за спиной, и у всех в руках наготове дубинки, палки с крючьями – и все направляются напрямик в блок номер шесть. Изнутри доносятся азартные голоса, гам, стук, и спустя несколько минут – вот так! – раздается торжествующий вопль. Сквозь него прорывается жалкий писк, писк все тише, потом он замолкает, а вскоре появляются и охотники. То, что они волокут за собой, отсюда видится лишь неодушевленным предметом, комком тряпья, – они швыряют этот комок в конец шеренги; я стараюсь туда не смотреть. Но какая-то маленькая деталь, какая-то различимая, несмотря ни на

что, черта, отличительный знак все же неодолимо притягивают мой взгляд, и я узнаю в нем того, кто когда-то был человеком: это – Невезучий. Потом:

«Arbeitskommandos antreten!»[39] – и можете рассчитывать: конвойные будут сегодня злее, чем всегда.

Наконец, можно, видимо, обсудить и третью, буквальную и реальную форму бегства; такое в нашем лагере тоже было однажды, один-единственный раз. Беглецов было трое; все трое – латыши, с богатым лагерным опытом, знанием немецкого языка и местности, уверенные в том, что они делают, – сведения эти шепотом расползались по лагерю, и должен сказать: после первых тихих восторгов, тайного злорадства в адрес охраны, кое-где даже, может быть, зависти и душевного подъема, после робкого взвешивания шансов – а не последовать ли их примеру? – очень скоро все мы молча проклинали их в душе, потому что было уже часа два-три ночи, а мы, наказанные за их проступок, все еще стояли на плацу; точнее сказать: не стояли, а качались. На другой день, вечером, когда мы вернулись в лагерь, я опять-таки старался не смотреть вправо. Там стояли три стула, на них сидели три человека; вернее, некие подобия людей. Как они точно выглядели и что было написано огромными корявыми буквами на картонках, висящих у них на шее, я предпочел, спокойствия ради, не интересоваться (потом все равно я об этом узнал, потому что в лагере долго еще обсуждали тот случай: «Hurrah! Ich bin wieder da!» – то есть: «Ура, я опять здесь!»); кроме того, я видел сооружение, напоминающее стояки для выбивания ковров, что были дома в каждом дворе, но с тремя веревками, на конце завязанными петлей; я понял, что это – виселица. Об ужине, разумеется, и речи не было; вместо этого сразу: «Appel!» —

потом: «Das gauze Lager: Achtung!»[40] – скомандовал где-то впереди, во всю глотку, лично сам Lageraltester. Возле виселицы построились обычные исполнители наказаний, затем, после некоторого ожидания, появились немцы, офицеры, – и все пошло, так сказать, по раз и навсегда заведенному порядку

– к счастью, довольно далеко от нас, впереди, возле умывален; я туда не смотрел. Смотрел я влево, откуда вдруг донесся какой-то звук, какое-то бормотание, что-то вроде пения. Недалеко от себя, в шеренге, я различил слегка трясущуюся голову на тонкой, вытянутой вперед шее; собственно, видны были главным образом нос и огромные, в эту минуту залитые каким-то почти безумным светом влажные глаза: это был он, раввин. Вскоре я разобрал и слова, произносимые им; тем более что слова эти стали повторять постепенно многие в шеренге. Например, все «финны»; но и не только они. Более того: не знаю уж, каким образом, но слова эти

перелетели к другим, соседним блокам, распространяясь подобно низовому огню в лесу; там я видел все больше шевелящихся губ и осторожно, едва заметно, но все-таки решительно раскачивающихся плеч, шей и голов. Бормотание, здесь, в середине шеренги, как некий гул, идущий из-под земли, было едва уловимо, но не смолкало; «Ис-

гадал, войисгадал», – звучало снова и снова, и я, хоть в этих вещах разбираюсь не очень, все же понял, что это – кадиш, заупокойная молитва евреев. И пускай это тоже было всего лишь упрямство, последний, единственно возможный в этих условиях, вероятно, вынужденный, даже предписанный, в известном смысле продиктованный, как бы независимый от чьей-либо воли и притом совершенно бесполезный вид упрямства (ибо ведь там, впереди, ничто не изменилось – если не считать того, что повешенные дернулись пару раз, – ничто не сдвинулось с места, ничто не дрогнуло от этих слов); и тем не менее я не мог не проникнуться тем чувством, в котором почти растворилось лицо раввина, чувством таким сильным, что у него даже крылья носа странно трепетали. Словно сейчас наступила та давно ожидаемая минута, та самая минута торжества, о наступлении которой, помню, он говорил еще на кирпичном заводе. И в самом деле, тогда, впервые в жизни, меня, сам не знаю, почему, охватило ощущение, что мне чего-то все-таки не хватает, охватила некоторая зависть; впервые в жизни я пожалел, что не научился молиться – пускай это было бы лишь несколько фраз – на древнем языке евреев.

Но ни упрямство, ни молитва, ни одна из форм бегства не способны были избавить меня от голода. Конечно, и дома случалось, что я бывал голодным – или, во всяком случае, считал, что голоден; голодным я был и на кирпичном заводе, и в поезде, и в Освенциме, и даже в Бухенвальде – но постоянно, на длинной дистанции, так сказать, я еще не был знаком с этим чувством. Я превратился в некую дыру, в пустоту, и думать мог только о том, чтобы заполнить, заткнуть, убрать эту бездонную, требовательную, ненасытную пустоту. Только этой задаче служили мои глаза, только этим заняты были мысли, только это руководило всеми моими поступками, и если я не ел дерево, щебень или железо, то лишь потому, что их невозможно было разжевать и переварить. Но с песком я уже делал попытки, а если видел траву, то ни секунды не колебался, не раздумывал, можно ли ее есть, – жаль, что травы ни на заводе, ни на территории лагеря почти уже не было. Одну-единственную тощую луковичку отдавали за два ломтя хлеба; такую же цену счастливые богачи просили за сахарную свеклу и за турнепс; сам я предпочитал последний: он сочнее, да и размером побольше; хотя люди знающие считают, что в сахар-

ной свекле больше ценности, ведь главное в съестном продукте – это питательные вещества; но хоть я и недолюбливал сахарную свеклу за едкий вкус и за жесткость, тут обычно было не до выбора. Я вполне удовлетворялся и свеклой; меня утешало то, что и другие ее едят. Нашим конвойным обед привозили прямо на завод, и, когда они ели, я не мог оторвать от них глаз. Признаться, радости это доставляло не так уж много: ели они быстро, пережевывали еду кое-как, торопливо; я видел, они понятия не имеют, что, собственно говоря, делают. Как-то я попал в бригаду, которая работала в цеху: в обеденный перерыв рабочие развернули принесенное из дому, и я, помню, долго смотрел на чью-то желтую, в больших мозолях руку, достающую из продолговатой стеклянной банки длинные стручки зеленой фасоли, один стручок за другим, – смотрел, возможно, с какой-то смутной, какой-то неопределенной надеждой. Однако эта мозолистая рука – я уже выучил все мозоли на ней, все ее движения – двигалась лишь между банкой и ртом, строго соблюдая маршрут. А потом руку загородила спина: рабочий отвернулся, и я, само собой, понимал почему – просто по доброте душевной. Мне хотелось ему сказать: ешь спокойно, не обращай на меня внимания, ведь для меня видеть, как ты ешь, тоже многого стоит, ведь это все же больше, чем ничего... Целую миску вчерашней картофельной кожуры я впервые купил у одного «финна». Миску он вытащил с хвастливым видом во время обеденного перерыва; к счастью, в тот день Банди со мной в бригаде не было – и некому было меня одернуть. «Финн» поставил миску перед собой, достал из кармана разлезаящуюся бумажку с комочками серой соли – все это медленно, обстоятельно, – взял кончиками пальцев щепотку, поднес ко рту, попробовал, словно смакуя, и лишь потом, как бы между прочим, через плечо, бросил в мою сторону: «Продается!» Вообще цена такого деликатеса – два ломтика хлеба или маргарин; он же запросил половину вечернего супа. Я пробовал торговаться, приводил всякие доводы, даже ссылаясь на равноправие. «Ди бист нист ка шид, д'бист а сегес, никакой ты не еврей», – тряс он, по обычаю «финнов», головой. Я спросил: «Тогда почему я здесь?» – «Откуда я знать?» – пожал он плечами. «Жид вонючий», – сказал я ему. «Все равно дешевле не отдам», – ответил он. В конце концов я купил у него кожуру по его цене, и уж не знаю, откуда он взялся вечером как раз в тот момент, когда мне наливали суп, и как он пронюхал, что на ужин будет молочная лапша.

Иные вещи по-настоящему, в полной мере можно понять только и исключительно в концлагере. В дурацких сказках моего детства часто фигурировал, скажем, «странник» или «бедняк», который, в расчете получить руку и сердце принцессы, поступает на

службу к королю, причем с радостью, потому что прослужить ему надо всего-то семь дней. «Но семь дней у меня – все равно что семь лет!» – говорит ему король; так вот, то же самое я должен сказать про концлагерь. Я никогда бы, например, не подумал, что могу так скоро превратиться в дряхлого старика. Дома для этого требуется время – по крайней мере пятьдесят—шестьдесят лет; здесь же хватило трех месяцев, чтобы тело мое отказалось мне подчиняться. Нет ничего более мучительного, более удручающего, чем день за днем наблюдать, день за днем подводить грустный итог, какая часть тебя безвозвратно ушла в небытие. Дома, хоть я и не слишком много внимания обращал на свой организм, в общем жил с ним в согласии, даже – если можно так выразиться – любил его. Помню летний послеполуденный час: сидя в прохладной тенистой комнате, я читал интересный роман, а ладонь моя с рассеянным удовольствием поглаживала гладкую, в золотистом пушке кожу на моем загорелом, мускулистом колене. И вот теперь эта кожа свисала, желтая, высохшая, морщинистая, ее покрывали всяческие нарывы, темные пятна, ссадины, трещины, рубцы и чешуйки, которые – особенно если я трогал их пальцами – неприятно чесались. «Парша», – понимающе кивнул Банди, когда я ему это показал. Я только поражался, наблюдая ту скорость, тот сумасшедший темп, с которыми, что ни день, уменьшалась, таяла, пропадала куда-то покрывавшая мои кости плоть с ее упругостью и надежностью. Каждый раз, когда мне приходило в голову взглянуть на себя, меня что-нибудь удивляло: какой-нибудь новый неприятный сюрприз, какое-нибудь новое безобразное явление на этом все более странном, все более чужом мне предмете, который когда-то был мне другом, был моим телом. Я уже и смотреть на него не мог без некоего двойственного чувства, некоего тихого отвращения; со временем я еще и по этой причине перестал снимать одежду, чтобы помыться, – конечно, свою роль тут играли и страх перед лишними движениями, и, позже, холод, ну и, конечно, мучения с обувью.

Обувь, о, она испортила мне – и не только, думаю, мне – очень много крови. Одежда, которую на нас надели в концлагере, вообще мне не нравилась: непрактичная, со множеством недостатков, источником постоянных досадных неприятностей; прямо скажу: одежда эта не отвечала своему назначению. Так, в период, когда шли нудные, морозящие дожди – а с наступлением осени они стали просто нескончаемыми, – холщовая ткань лагерной робы превращалась в нечто негнущееся, как жесь, и наша озябшая кожа пыталась – само собой, безуспешно – не соприкоснуться с ней. Мало тут помогал и полосатый плащ – такие плащи, грех отрицать, честно раздали всем без исключения, – под дождем он

превращался еще в одну обузу, еще в один влажный слой; немного проку было, на мой взгляд, и от грубой бумаги, из которой делали мешки для цемента; такую бумагу, по примеру многих других лагерников, утащил для себя Банди Цитром и носил на теле под одеждой, несмотря на связанный с этим риск; ведь проступок твой выявляется быстро: удар палкой по спине, еще один удар по груди, и хруст бумаги выдает тебя с головой. А если бумага уже не хрустит, то – спрашиваю я – к чему этот новый размокший, облипающий тебя слой, от которого и избавиться-то можно только тайно?

Но больше всего мне досаждали башмаки. Все начиналось, собственно, с грязи. Должен признаться, что и в этом смысле прежние мои понятия оказались не вполне соответствующими реальности. Я и дома, естественно, видывал грязь, даже ходил по ней – но не подозревал, что грязь способна превращаться в главную заботу, в стихию, которая становится определяющей в жизни. Увязать в грязи едва ли не по колено, потом, напрягая все силы, рывком вытаскивать ногу из холодной густой массы, слыша ее разочарованное чавканье, вытаскивать, чтобы увязнуть снова, на двадцать-тридцать сантиметров подальше, – нет, к этому я совсем не был готов; а если бы и был, то что бы это изменило? Так вот: скоро выяснилось, что со временем у деревянных подошв наших башмаков отламывается каблук. Тогда ты вынужден передвигаться на толстой, но в определенной точке под пяткой вдруг утончающейся и загибающейся вверх, на манер носа гондолы, деревянной пластине – то есть ходить, раскачиваясь взад-вперед, вроде ваньки-встаньки. Кроме того, на месте отвалившегося каблука, там, где пластина совсем тонкая, появляются щели, которые с каждым днем увеличиваются и в которые с каждым шагом беспрепятственно проникает холодная грязь, а вместе с ней – мелкие камешки и всякий мусор. Тем временем шершавые края пластины стирают в кровь щиколотки и особенно более нежную кожу под ними. Теперь ранки – уж такое у них свойство – сочатся кровавой жижей, а жижа эта – очень даже липкая вещь; короче говоря, спустя какое-то время башмаки уже не снять, они склеиваются, как бы срастаются с ногой, становясь ее частью. В башмаках ты ходишь весь день, в них же ложишься спать, хотя бы ради того, чтобы не терять времени, когда придется спрыгивать со своего места на нарах, за ночь два-три, а то и четыре раза. Да ночью еще туда-сюда: споткнешься пару раз в темноте, спросонок наступишь на что-нибудь, потом найдешь дверь и, скользя по грязи, в свете прожекторов как-нибудь доберешься до цели. Но что делать днем, если в бригаде, во время работы, тебя схватит – а это вещь неизбежная – понос? В таком случае ты, собрав всю

свою смелость, сняв шапку, подходишь к

конвойному и просишь разрешения отойти: «Gehorsamst zum Abort»[41], – при условии, конечно, что поблизости есть эта будка, причем такая будка, которой имеют право пользоваться и лагерники. Но предположим: конвойный как раз настроен доброжелательно и даст тебе разрешение; предположим, разрешит и во второй раз; но найдется ли человек, который и в третий раз решится испытывать его терпение? Остается немая борьба с собой: стиснув зубы, дрожа всем телом, ты мучаешься и ждешь, что в конце концов возьмет верх – природа или воля?

И в качестве последнего средства воздействия – неожиданные или ожидаемые, принимаемые с вызовом или, наоборот, всеми способами избегаемые побои. На мою долю их тоже выпало немало, пусть не больше, но и не меньше, чем в среднем выпадало каждому, то есть как раз в той мере, в какой они, побои, не заслужены лично тобой как некий особый удел, а являются лишь привычной практикой концлагеря. И – тут, видимо, заметна какая-то непоследовательность, но я не могу не отметить – побои, более всего мне запомнившиеся, я получил не от какого-нибудь эсэсовца, для которого они были все-таки в какой-то мере частью его служебного долга, который все-таки был как бы уполномочен, даже как бы обязан (уж и не знаю, как лучше

сказать) бить нашего брата, а от одетого в желтую униформу представителя некоего, немного загадочного корпуса «Годт», чья, не очень мне ясная, функция состоит, как я слышал, в надзоре за строительными работами. Именно он оказался поблизости, именно он заметил – но как он закричал при этом, как рванулся ко мне! – заметил, что я уронил мешок с цементом. В самом деле, погрузку цемента любая бригада – и, по-моему, с полными на то основаниями

– воспринимает как редкий подарок, хотя радость по этому поводу предпочитает не высказывать вслух даже в своем кругу. В самом деле, это сказка, а не работа. Ты наклоняешь голову, кто-то кладет тебе на плечи мешок, с ним ты шагаешь к грузовику, там кто-то снимает его с твоей шеи, потом ты, делая большой крюк, величина которого определяется обстановкой, бредешь обратно, в случае удачи перед тобой еще стоят в очереди несколько человек, и ты можешь бездельничать еще минуту-другую, до следующего мешка. Да и что такое этот мешок? Всего-то десять—пятнадцать килограммов, не больше; дома ты унес бы его одной рукой, да еще вприпрыжку; но тут – тут я споткнулся и уронил его. А главное, он еще и лопнул, и в прореху посыпалось, смешиваясь с грязью, содержимое – драгоценный цемент. Почти в тот же момент солдат оказался рядом, и я уже ощутил его кулак на своем

лице, а потом, когда он повалил меня на землю, его сапог на своих ребрах, а руку – на шее: он тыкал меня лицом в землю, в рассыпанный цемент, мол, собери, соскреби, языком подбери, орал он вне себя. Потом рывком поставил меня на ноги: он мне покажет, где раки зимуют, dir werd ich's zeigen, Arschloch,

Scheisskerl, verfluchter Judehund[42], – он отучит меня цемент рассыпать. С этой минуты он сам взваливал мне на плечи следующий мешок, он занимался теперь только мной, я был единственной его заботой, взгляд его, пока я брел до грузовика и обратно, был неотрывно прикован ко мне, он нагружал меня, даже если по очереди и по справедливости мешки полагались другим. В конце концов мы едва ли не сыгрались с ним, изучили друг друга, и на лице у него я видел едва ли не удовлетворение – во всяком случае, нечто вроде ободрения, чтоб не сказать: некое подобие гордости, и в каком-то смысле, что отрицать, у него были на это известные основания: ведь я в самом деле, пускай шатаюсь, пускай согнувшись в три погибели, чувствуя, что в глазах у меня время от времени темнеет, но все-таки выдержал; я все-таки передвигал ноги, все-таки носил цемент, при этом не уронив больше ни одного мешка, и это в конечном счете – я не мог не признать – доказывало его правоту. С другой стороны, к концу дня я почувствовал, что во мне что-то непоправимо сломалось: с того дня каждое утро, проснувшись, я думал, что это утро – последнее, а встав и кое-как спустившись с нар, после каждого шага чувствовал, что сделать еще один не смогу, после каждого движения был уверен, что на следующее меня не хватит; и все-таки, все-таки я пока еще двигался.

Бывают такие случаи, складываются такие ситуации, когда, что бы ты ни предпринимал, что бы с тобой ни происходило, ты знаешь: хуже уже быть не может. Могу твердо сказать: после стольких стараний, стольких тщетных попыток, усилий я наконец обрел мир и покой в душе. Скажем, некоторые вещи, которым я до сих пор придавал Бог знает какое огромное, почти непостижимое разумом значение, теперь потеряли в моих глазах всякий вес. Так, в строю на поверке я, если очень уж уставал, не глядя, в грязи стою или в луже, просто–напросто, плюнув на все, садился – и безмятежно сидел, пока соседи силой не поднимали меня на ноги. Холод, сырость, дождь, ветер меня больше не беспокоили: они как-то огибали меня, я их не осязал, не чувствовал. Даже привычный голод меня перестал терзать: я по-прежнему клал в рот все, что находил, все, что можно было съесть, но делал это рассеянно, скорее механически, по привычке, так сказать. Работа? На работе я уже и о том, чтобы создать видимость, не заботился. Если им что-то не нравится, что ж, они меня побьют, – ну и ладно, не велика беда, наоборот, так я лишь выиграю немного времени: при первом же ударе я поспешно падал на землю, а что там дальше, меня не интересовало, потому что я сразу же засыпал.

Одно лишь стало во мне сильнее: раздражительность. Если кто-нибудь посягал на мой покой, хотя бы всего-навсего прикасался ко мне, или если на марше мне случалось сбиться с шага (а это происходило часто) и тот, кто шел сзади, наступал мне на пятки, я был готов, не колеблясь, убить его, например, и убил бы, конечно, если бы у меня нашлись для этого силы и если бы я, подняв для удара руку, тут же не забывал, что я, собственно, собирался сделать. Когда Банди принимался меня отчитывать, упрекая, что я «опустился», что становлюсь для бригады обузой, навлекаю на остальных беду, что от меня паршой можно заразиться, – я и с ним ссорился. Но главное, я словно бы стал его в определенном смысле смущать, я будто мешал ему. Заметил я это, когда он однажды потащил меня мыться. Тщетно я отбивался, орал – он силой снял с меня робу; тщетно норовил стукнуть его кулаком в грудь, в лицо – он холодной водой беспощадно тер мою озябшую кожу. Я сто раз крикнул ему в лицо: надоели мне твои заботы, оставь меня в покое, убирайся в ж... «Ты что, решил здесь подохнуть? Не хочешь живым вернуться домой?» – спросил он; не знаю, что он увидел в моих глазах, но на лице у него появилось вдруг какое-то потрясенное выражение, что-то вроде испуга, с каким

нормальные люди смотрят на неисправимых преступников, на приговоренных к смерти или, скажем, на разносчиков эпидемии; мне тогда опять вспомнилось, как он когда-то отзывался о «мусульманах». Во всяком случае, после этого он, как я заметил, явно стал меня избегать; я же, избавившись и от этого груза, вздохнул наконец с облегчением.

Только вот от колена своего я никак не мог избавиться, эта боль все время была со мной. Через пару дней, собравшись с духом, я решил на него посмотреть, и, хотя тело мое уже ко многому меня приучило, этот новый сюрприз, этот огненно-красный мешок, в который превратилось место, где находилось правое колено, заставили меня поскорее прикрыть его одеждой, чтобы больше не видеть. Я знал, что в нашем лагере есть лазарет; но, во-первых, время приема совпадало с ужином, а ужин был для меня все-таки важнее любой болезни; во-вторых, я знал, где нахожусь, так что некоторый накопленный опыт и знание жизни не очень-то способствовали надеждам на исцеление. Да и находился лазарет далеко, через две палатки от нашей, и преодолеть такое расстояние, если это не диктуется приказом или острой необходимостью, я был просто не в силах: кроме того, у меня страшно болело колено. В конце концов меня отнесли туда, сплетя руки в виде сиденья, Банди Цитром с нашим соседом по нарам; там меня посадили на стол и заранее предупредили: будет, скорее всего, очень больно, поскольку без немедленной операции не обойтись, а поскольку обезболивающих средств в наличии не имеется, оперировать будут так. Сквозь боль я смог заметить следующее: острым ножом мне сделали над коленом два, крест-накрест, разреза, выдавили оттуда целое море гноя, скопившегося под кожей, и потом замотали рану бумажным бинтом. Сразу после операции я спросил насчет ужина; меня успокоили: все, что необходимо, будет сделано, и вскоре я действительно убедился, что это так. Баланда нынче сварена была из турнепса и кольраби, такое блюдо я очень люблю, к тому же для лазарета, как можно было предположить, баланду черпали из гущи, с самого дна, чем я тоже остался доволен. Ночь я тоже провел тут, в палатке лазарета, на самом верхнем ярусе одного из боксов, причем совершенно один; единственное было крайне неприятно: в обычный час, когда на меня накатил понос, я уже не мог на собственных ногах бежать в отхожее место, о помощи же – сначала шепотом, потом вслух, потом во всю глотку – взывал без всякого результата. Утром, вместе с другими доходягами, меня кинули в кузов грузовика, на мокрую жесть, и отвезли в какой-то городок поблизости (если я правильно разобрал, назывался он Глейна), где, собственно, находился госпиталь нашего лагеря. В задней части кузова, на аккумуля-

ратной складной скамеечке, сидел солдат, держа на коленях блестящую от влаги винтовку; он то и дело хмурился, вертел головой и брезгливо морщился: должно быть, к нему долетали от нас какие-то запахи, – в таком тесном пространстве, где ему, обязанному следить за нами, некуда было деться, это было неизбежно, так что, должен признать, для подобных гримас у него были все основания. Обидно было лишь, что он про себя словно бы уже составил насчет нас определенное мнение, согласившись с некой общеизвестной истиной; мне даже хотелось ему возразить, оправдаться: дескать, в том, что так происходит, не я один виноват, что вообще-то я совсем не такой – но доказать это было бы, само собой, трудно, и мне оставалось лишь помалкивать. Когда мы наконец прибыли, прежде всего мне пришлось выстоять под напором внезапно обрушившей на меня из резинового шланга – вроде садового – водной струи, которая преследовала меня, как я ни отворачивался, и смыла с меня остатки тряпья, грязь, а заодно и бумажную повязку на колене. Потом меня отнесли в палату, дали рубаху и предоставили нижний этаж двухъярусной деревянной койки, где я и устроился на оставшемся, по всей очевидности, от моего предшественника, достаточно вылежанном и плоском, испещренном подозрительными пятнами, подозрительно пахнущем и подозрительно похрустывающем, но, в конце концов – и это главное, – свободном соломенном тюфяке; тут меня оставили в покое, предоставив самому решать, чем я буду заполнять свое время, то есть дав возможность наконец выспаться вволю.

Прежние свои привычки мы, как видно, всегда тащим с собой и на новое место; вот и в госпитале мне поначалу пришлось бороться со многими старыми, въевшимися в душу страхами. Взять, например, чувство долга: в первые дни оно будило меня точно в один и тот же час, перед рассветом. Потом я вскидывался весь в холодном поту от ужаса: мне снилось, будто я проспал поверку, меня уже ищут – и лишь постепенно, чувствуя, как колотится сердце, я оглядывался вокруг, вспоминал, где нахожусь, и успокаивался: все в порядке, я там, где и должен быть; я слышал тихие стоны, в углу беседовали люди, невдалеке кто-то лежал в странной немоте, с отвалившейся челюстью и заострившимся носом, с устремленным к потолку застывшим взглядом, – и я чувствовал, что у меня болит лишь рана на колене, да еще, пожалуй, очень хочется пить, как всегда, но сейчас особенно: вероятно, от жара. Словом, требовалось какое-то время, пока я в полной мере убеждался: я не на поверке, вокруг нет солдат, а главное, мне не нужно идти на работу – и все эти прекрасные, невероятные вещи не могло затмить, перечеркнуть (по крайней мере, в моих глазах)

никакое постороннее обстоятельство. Иногда меня, как и других, забирали на второй этаж, в комнатку, где работали два врача, один молодой, другой постарше; я был пациентом (если можно так выразиться) второго. Это был худощавый, темноволосый, располагающий к себе человек, в чистом костюме и чистой обуви, с повязкой на рукаве, с дружелюбным, запоминающимся лицом, напоминающим морду старого лиса. Он спросил, откуда я родом, и рассказал, что сам он из Трансильвании. Разговаривая, он осторожно снимал с меня разлезающуюся в клочья, возле колена уже засохшую и ставшую зеленовато-желтой бумажную повязку, потом, надавив двумя руками, выдавливал из-под кожи то, что там скопилось, и, наконец, инструментом, похожим на вязальный крючок, запихивал в щель между кожей и костью свернутый в рулончик кусок марли – как он объяснял, для «сохранения канала» и продолжения «процесса очищения», чтобы рана не вздумала затянуться раньше времени. Я со своей стороны слушал его слова с удовольствием: там, в лагере, я, в конце концов, ничего не потерял, и торопиться с выздоровлением – если, разумеется, хорошо подумать – мне лично никакой необходимости нет. Меньше мне было по вкусу второе его замечание. Одного разреза у меня на колене ему было мало. Стоило бы, на его взгляд, сделать еще один канал, сбоку, и связать его, посредством третьего разреза, с первым. Он спросил, решусь ли я на это; а я смотрел на него, совершенно ошеломленный, поскольку вопрос его прозвучал так, будто он в самом деле ждет от меня ответа, согласия, чтоб не сказать: решения. Я сказал: «Как хотите», и он ответил что-то в том роде, что раз так, то лучше тогда не тянуть. И тут же взял скальпель; но во время операции я вынужден был реагировать немного громче, чем надо, и это, я видел, ему мешало. Он даже сказал несколько раз: «Так я работать не могу»; а я оправдывался: «Ничего не могу поделывать». Сделав разрез длиной в пару сантиметров, он махнул рукой и отложил скальпель, так и не завершив задуманное. Правда, он все равно выглядел довольным – и даже заметил: «Ладно, это тоже кое-что», поскольку теперь, как он считал, можно выдавливать из меня гной уже по крайней мере в двух местах. Время в госпитале шло вполне терпимо: когда я не спал, то голод, жажда, боль в колене, какой-нибудь разговор или события, связанные с лечением, заполняли день, делали его содержательным – и при этом без необходимости выходить на работу; смело могу сказать: именно эта приятно щекощущая сознание мысль, именно это сознание собственной, неведомо откуда свалившейся на меня привилегированности делали мою жизнь довольно сносной. Когда появлялись новички, я не упускал случая выспросить их, из какого они блока, слышно ли в лагере что-

нибудь новенькое и не знают ли они в пятом блоке заключенного Банди Цитрома, среднего роста, со сломанным носом, передних зубов нет; но никто Банди не помнил. Раны в процедурной я видел в основном похожие на мою: тоже главным образом в районе колена, у кого пониже, у кого повыше, а также на бедре, на заднице, на руках, даже на шее и на спине; все это, если говорить по-научному, были флегмоны как я узнал: в том, что они часто появляются в условиях концлагеря, ничего странного или удивительного нет, говорили врачи. Немного позже стали поступать в госпиталь те, у кого приходилось отрезать палец на ноге или два, а иной раз – все; они рассказывали: там, в лагере, уже зима и они обморозили ноги в деревянной обуви. А однажды в перевязочную вошел весьма привилегированный заключенный в лагерной, но шитой у портного одежде. Я услышал негромкое, но отчетливое «Bonjour!» – и по этому приветствию, ну и еще по букве «F» на красном треугольнике, сразу догадался: француз; а по нарукавной повязке с надписью

«O. arzt[43]» – что он, очевидно, главный врач нашего госпиталя. Я долго на него смотрел, поскольку давно не видел такого красивого человека: он не был

очень высоким, но костюм сидел на нем ладно, облекая пропорциональное, не худое и не толстое тело; лицо его, выразительное и богатое оттенками, сочетало в себе оригинальность и гармонию, подбородок был круглым, с ямочкой в середине; смуглая, с оливковым оттенком кожа матово поблескивала в падающем на нее свете – точно так, как она поблескивала на лицах людей дома, в давние времена. Выглядел он довольно молодо: я дал бы ему лет тридцать. Врачи, увидев его, оживились, засуетились, показывали ему все, объясняли, старались всячески угодить; но я заметил, что делают они это не столько по лагерной, сколько по какой-то старой, домашней привычке, пробуждающей милые сердцу воспоминания, и разговор шел с легкой игривостью, радостной светскостью, как бывает, когда у нас появляется возможность показать, что мы прекрасно понимаем и говорим на каком-нибудь культурном языке – например, на сей раз французском. А с другой стороны – этого я тоже не мог не заметить, – для главного врача это мало что значило: он все осматривал, одним-двумя словами или просто кивком отвечал на вопросы, неторопливо, негромко, меланхолично, почти равнодушно, с застывшим в орехово-карих глазах выражением некой печали, почти уныния. Я только моргал, глядя на него, потому что не мог понять, чем может быть опечален такой благополучный, такой обеспеченный лагерник, который к тому же сумел подняться до столь высокого ранга. Я всматривался в его лицо, наблюдал за его движениями – и мало-

помалу до меня дошло: о чем речь, ведь и он, в конце концов, вынужден быть тут, хочет он этого или не хочет; лишь постепенно и не без удивления, не без некоторой тайной усмешки я стал понимать, что угнетает его, судя по всему, само пребывание в заключении. Я чуть не сказал ему: дескать, чего горевать, бывает, как видишь, и хуже; но я почувствовал, что это с моей стороны было бы дерзостью; ну и к тому же, вспомнилось мне, я ведь и французского-то не знаю.

Переселение я в общем тоже проспал. Еще за несколько дней до этого по госпиталю разнесся слух: для лагерников вместо цейцских палаток уже построены зимние помещения – кирпичные бараки; на сей раз не забыли и о бараке для госпиталя. Нас опять побросали в грузовик; судя по темноте, был вечер, а судя по холоду, примерно середина зимы. Потом в памяти у меня отпечаталось огромное, ярко освещенное холодное помещение: должно быть, приемный покой, и в нем – деревянная ванна, остро пахнувшая каким-то химическим средством; в эту ванну мне, несмотря на рыдания, просьбы, протесты, пришлось окунуться с головой, и дрожать меня заставило не только холодное, как лед, содержимое этой ванны, но и тот факт, что, как я заметил, в ту же коричневую жидкость окунали передо мной остальных больных, со всеми их язвами, коростами, ранами. Но потом время стало двигаться, в сущности, так же, как на прежнем месте; разве что с парой небольших отличий. Нары в новом госпитале, например, были четырехъярусными. И к врачу меня теперь доставляли реже, так что ране моей приходилось очищаться самой, на месте, своими силами. К тому же спустя некоторое время боль, а затем знакомый огненно-красный мешок появились и на левом бедре. Через пару дней, когда я понял: надеяться, что нарыв пройдет сам собой или случится еще что-нибудь, дело напрасное, – мне пришлось пересилить себя и обратиться к санитару; еще несколько дней ожидания, еще несколько напоминаний, и я наконец снова попал в приемный покой – который служил операционной и процедурной, – к врачам; так на левом бедре – при незаживающем правом колене – у меня оказался еще один, размером примерно с мою ладонь, разрез. Другое неприятное обстоятельство связано было с боксом, где я лежал: прямо напротив меня, высоко в стене (мне досталась одна из нижних коек), находилось маленькое, всегда глядящее в серое небо, незастекленное окошко, на его железных решетках, должно быть, из-за горячего, поднимавшегося паром дыхания многих людей, находившихся внутри, всегда висели сосульки и лохматился иней. На мне же было лишь то, что, в соответствии с лагерными порядком, положено больному: короткая рубашка без пуговиц, ну и выданная по случаю зимы, стран-

ная, натягиваемая плотной окружностью на уши, а на лоб спускающаяся тупым клином зеленая вязаная шапочка, несколько напоминающая своей формой шапочки чемпионов по конькобежному спорту или головной убор актеров, играющих Мефистофеля, – но вообще-то вещь весьма полезная. Так что я постоянно мерз, особенно после того, как лишился одного из своих одеял, цельными частями которого довольно успешно прикрывал дыры в другом: его ненадолго попросил санитар, потом-де вернет. Напрасно я ухватился за одеяло обеими руками, пытаюсь удержать: санитар оказался сильнее; утрата моя в какой-то мере усугублялась еще и мыслью, что одеяло – как мне, по крайней мере, представилось немало случаев замечать – стаскивали обычно с тех, кому оно, по всем признакам, все равно скоро будет ненужно, для кого, могу смело сказать, такие мелочи уже не имеют значения. В других случаях во мне будил тревогу голос, со временем ставший хорошо знакомым, доносившийся тоже с нижней койки, но откуда-то из-за моей спины: должно быть, поблизости маячил санитар, опять с новым больным на руках, и как раз озирался, к кому, в чью постель его положить. Больному со знакомым требовательным голосом – как все мы могли хорошо узнать – ввиду тяжести его случая и по разрешению врача полагалось отдельное место, и он так грозно вопил на весь госпитальный барак: «Протестую!» – и доказывал: «У меня право есть на это! Спросите врача!» – и снова гремел: «Протестую!» – что санитары каждый раз в конце концов в самом деле считали за благо нести свой груз еще куда-нибудь – например, ко мне. Так я получил в соседи парня, примерно моего возраста. Его желтое лицо, огромные, лихорадочно горящие глаза я словно бы уже видел где-то, – правда, желтое лицо и большие, лихорадочно горящие глаза здесь у каждого. Первый вопрос его был: не найдется ли у меня попить, на что я честно ответил, что попить я и сам бы, честное слово, не отказался; тогда последовал второй вопрос: а сигаретки?.. Конечно, я и тут не мог его ничем порадовать. Он сказал, что отдаст за это свой хлеб, но я объяснил ему, что не стоит тратить слов, не в этом дело: нет – значит нет; тогда он на некоторое время замолчал. Думаю, у него была высокая температура: от его тела, сотрясаемого крупной дрожью, веяло жаром, из чего я извлек немалую пользу для себя. Меньше устраивало меня другое: ночью он постоянно метался и ворочался с боку на бок, совсем не имея в виду мои раны. Я даже попенял ему: эй, приятель, хватит тебе, успокойся хоть ненадолго; в конце концов он меня послушался. Только утром я понял почему: к раздаче кофе я тщетно пытался его разбудить. Тем не менее я торопливо протянул миску соседу санитару, тем более что тот – как раз когда я собирался сообщить ему о проис-

шедшем – рывкнул на меня и взмахнул черпаком. Потом я взял для соседа и хлебную пайку, а вечером – суп и в последующие дни поступал так же, до тех пор, пока он не начал вести себя совсем странно; тут я все-таки вынужден был обратиться к санитарам: не хранить же мне соседа в своей постели до бесконечности. Я немного опасался, что будет: промедление выглядело уже довольно заметным, а причина, при некоторой осведомленности тех, кому следовало об этом знать (на эту осведомленность, впрочем, я и сам рассчитывал, надеясь, что она склонит чашу весов в мою пользу), легко угадывалась. Но сосед мой ушел вместе с другими, мне, слава Богу, никто ничего не сказал, и я опять остался на койке один.

Здесь я по-настоящему познакомился с паразитами. С блохами справиться я мог и не мечтать, и это вполне понятно: в конце концов, у них и питание было куда лучше, чем у меня. Легче было ловить вшей, только это не имело ни малейшего смысла. Если уж я очень на них злился, то ногтем большого пальца проводил наугад по холсту рубашки, натянутой на спине, – и по очереди хорошо различимых щелчков определял, какой урон нанес их ордам, наслаждаясь сладостью мести; правда, спустя минуту я спокойно мог повторить операцию – точно на том же самом месте и точно с тем же самым результатом. Они были везде, они забирались в самые потаенные места, моя зеленая шапка была от них серой и только что не шевелилась. И все-таки больше всего я удивился, даже поразился, едва ли не пришел в ужас, когда вдруг ощутил зуд на бедре и, приподняв бумажную повязку, обнаружил, что вши поселились уже на голой плоти и питаются прямо из раны. В панике я попытался избавиться от них, прогнать хотя бы из-под повязки, заставить потерпеть, подождать хотя бы немножко – и могу с уверенностью сказать: никогда еще борьба не представлялась мне такой бесперспективной, сопротивление – таким упорным, таким ожесточенным, почти бесстыдным, как в этом случае. Спустя какое-то время я сдался – и уже просто наблюдал эту жадность, это торопливое, безоглядное насыщение, это нескрываемое блаженство: в каком-то смысле все это было знакомо и мне. У меня даже мелькнула мысль: если хорошо подумать, я в известной мере могу их понять. От этого мне словно бы стало немного легче, и даже моя брезгливость почти прошла. Нет, я и в дальнейшем не был рад этим тварям, и в дальнейшем ощущал некоторую удрученность – думаю, это в конце концов понятно, – однако удручен я был как-то в общем, беззлобно, как бы из-за того только, что таков порядок вещей в природе, если можно так выразиться; во всяком случае, я быстро прикрыл рану повязкой и уже не предпринимал попыток бороться со вшами, больше не

беспокоил их.

Могу со всей ответственностью сказать: видимо, невозможно накопить в душе столько печального опыта, невозможно впасть в такое абсолютное безразличие, невозможно дойти до такой степени всепонимания и всепрощения, чтобы не дать все же какой-то последний шанс и удаче – с условием, что найдешь для этого способ. Вот почему, когда я узнал, что меня, вместе со всеми другими, от чьей работы, судя по всему, особого проку ждать уже нечего, отсылают назад

– так отсылают отправителю письма, не нашедшие адресата, – в общем, возвращают в Бухенвальд, я, само собой, всем своим существом, всеми чувствами, на которые еще был способен, разделял радость остальных: мне сразу вспомнились тамошние золотые денечки, ну и особенно суп, который там дают по утрам. Правда, я, признаюсь, вовсе не думал о том, что туда ведь надо еще добраться, причем по железной дороге и в условиях, которые таким путешествиям свойственны; во всяком случае, теперь я могу сказать, что есть вещи, которые я до тех пор никогда не понимал и в которые вообще вряд ли смог бы поверить. Есть, например, выражение, которое я часто когда-то слышал: «бранные останки»; по былому моему разумению, оно могло относиться только к усопшим. Что же касается меня, то я, вне всяких сомнений, все еще был жив, и во мне, пускай едва-едва теплясь, пускай прикрученный до минимума, тлел еще, как принято говорить, огонек жизни, – то есть тело мое находилось здесь, я все знал о нем, и знал точно, вот только самого меня в нем как бы не было. Я без особых трудностей способен был осознать, что оно, мое тело, лежит на боку, что поверх него находятся такие же вещи, которые можно назвать «телами», что подо мной, на трясущемся дощатом полу вагона, набросана холодная, пропитанная какой-то подозрительной влагой солома; я ощущал, что бумажные повязки, прикрывающие разрезы на теле, давно истлели, сгнили, свалились, так что рубаха и штаны, в которые я был одет в дорогу, приклеились прямо к ранам; но все это меня как бы не очень касалось, не интересовало, не производило особого впечатления; я бы даже сказал, что давно не чувствовал себя так легко, так покойно, почти разнеженно, одним словом, так хорошо. Наконец-то, спустя долгое время, я избавился от мучительной раздражительности: чужие тела, притиснутые к моему, больше мне не мешали, я даже скорее был рад, что они здесь, рядом, что они так на меня похожи, что они почти сроднились со мной; впервые меня охватило по отношению к ним некое необычное, из ряда вон выходящее, немного застенчивое, я бы сказал – неловкое чувство; вполне вероятно, это как раз и есть то, что называют

любовью к ближнему. Я обнаружил, что они отвечают мне тем же. Правда, слов надежды, как вначале, я уже не слышал от них. Но может быть, именно это делало столь теплыми и проникновенными слова утешения, ободрения, доносившиеся порой сквозь стоны, зубовный скрежет и тихие жалобы. Надо сказать, те, кто был на это способен, не скупилась и на действия, так что и ко мне чьи-то щедрые руки, Бог весть из какого угла, передавали пустую консервную банку, когда я давал знать, что мне нужно помочиться. И когда наконец под моей спиной – не знаю, как, когда и с помощью чьих рук, – вместо вагонных досок оказалась каменистая почва с подернутыми ледком лужами, должен сказать, для меня уже не имело большого значения, что я благополучно прибыл в Бухенвальд; я успел забыть, что это и есть то самое место, куда я так мечтал попасть. Да я и не понимал, где оказался: на станции или уже в самом лагере; я не узнавал ни окрестностей, не видел ни знакомой дороги, ни особняков, ни статуи, которую так хорошо помнил.

Во всяком случае, мне показалось, что лежал я там, где меня оставили, долго, пребывая в мире и покое, не испытывая ни любопытства, ни нетерпения. Не чувствуя ни холода, ни боли, скорее разумом, чем кожей я ощущал, что на лицо мне сыплется что-то колючее, среднее между дождем и снегом. Размышлял о чем-то, что-то разглядывал – что само, без всяких движений, без утомительной необходимости поворачивать голову, попадало в поле моего зрения: например, низкое, серое, непроницаемое небо надо мной, а если говорить точнее, свинцовые, лениво ползущие зимние тучи, которые это небо от меня закрывали. При всем том тучи эти иногда разрывались, и в серой их массе то там, то здесь неожиданно, на долю мгновения, возникали щели, просветы, и это пробуждало во мне что-то вроде внезапной догадки о бездонной глубине, откуда в такие моменты на меня словно бы падал быстрый пронизательный взгляд: там чудились чьи-то глаза, неопределенного цвета, но, несомненно, светлые, – они напоминали глаза врача, который когда-то давным-давно, еще в Освенциме, меня осматривал. Непосредственно рядом со мной находился неуклюжий предмет – башмак с деревянной подошвой; с другой стороны – серая мифистофельская шапка, похожая на мою, два торчащих выступа: нос и подбородок – с темным провалом между ними, – чье-то лицо. Дальше смутно виднелись другие головы, другие предметы, другие тела; я понял, это – остатки прибывшего транспорта, или, если брать более точное слово, отходы, временно сваленные тут, на обочине. Спустя некоторое время, не знаю, час, день или год, послышались наконец голоса и звуки: поблизости шла какая-то работа, кто-то пришел навести порядок. Голова,

что была со мной рядом, вдруг поднялась в воздух, я увидел поло- сатые рукава лагерной робы: чьи-то руки готовились поднять бессильное тело и бросить его в грубое деревянное сооружение вроде тачки или тележки, на груду лежавших там других тел. И тут слух мой уловил обрывки слова, которое я едва-едва разобрал, еще с большим трудом услышав в хриплом шепоте намек на когда-то – я должен был его помнить – металлически звучащий голос: «Про-те-с...тую...» Тело на миг замерло в воздухе, тот, кто поднимал его, как бы удивился, и тут же раздался другой голос, он был приятный и дружелюбный, притом достаточно муже- ственный; немецкие слова звучали слегка чуждо, по-лагерному, и выдавали скорее все-таки известное недоумение, даже, можно сказать, изумление, чем

досаду. «Was? Du willst noch leben?»[44] – произнес кто-то; и в самом деле, желание жить, исходившее от бранных останков, в ту минуту и мне показалось странным, не поддающимся объясне- нию, в общем даже нелепым. Я тогда решил про себя, что, пожа- луй, не буду поступать столь же глупо. Но тут надо мной склони- лись, и я вынужден был зажмуриться: чьи-то руки ощупывали мне лицо и глаза; потом меня бросили в тележку размером по- меньше, к другим телам, и повезли куда-то; куда, я особо не любо- пытствовал. Лишь одно меня занимало; одна мысль, один вопрос, всплывший в этот момент в сознании. Возможно, это моя вина, что я до сих пор не знал на него ответа; я никогда не был столь предусмотрительным, чтобы поинтересоваться, каковы здесь, в Бухенвальде,

обычай, каков порядок, каков принятый метод, иными слова- ми, как здесь это делают: газом ли, как в Освенциме, или, может, с помощью какого-нибудь лекарственного средства, о чем я тоже там слышал, или пулей, или еще как-нибудь, одним из тысячи других способов, о которых я просто еще не знаю. Во всяком слу- чае, я надеялся, мне не будет больно; и, как ни странно, надежда эта так же переполняла меня, была столь же горячей, как иные, настоящие – да будет позволено мне так выразиться – надежды, которые мы связываем с будущим. И лишь тогда я узнал, что тщеславие – это такое чувство, которое, видимо, не покидает че- ловека до самой последней минуты: действительно, как ни беспо- коила меня неопределенность, я не обратился ни с вопросом, ни с просьбой, не сказал ни единого слова тем, кто толкал тележку, я даже беглого взгляда не бросил в их сторону. Дорога тем време- нем сделала крутой поворот, и внизу, подо мной, вдруг открылся широкий ландшафт. Пологий склон был тесно уставлен одинако- выми кирпичными домиками и аккуратными зелеными барака- ми, дальше, в отдельной группе, стояли бараки еще не покрашен-

ные, наверное, новые, немного более мрачные; территория была рассечена сложным, но, по всей очевидности, продуманным переплетением внутренних проволочных заграждений, делящих лагерь на отдельные зоны; дальше, в тумане, виднелся лес с огромными, голыми сейчас деревьями. Не знаю, чего ждала там, возле одного из строений, толпа голых «мусульман», возле которых прохаживались взад-вперед несколько привилегированных заключенных; но потом я разглядел скамеечки, над ними двигались какие-то фигуры, и понял: там стригут новоприбывших, у которых впереди – баня и размещение по баракам. Но и дальше, на выложенных булыжником лагерных улицах, не прекращалось движение, шла вялая, неторопливая деятельность: лагерники-ветераны, лагерники-больные, привилегированные лагерники, кладовщики, счастливые избранники специальных бригад – все выполняли свои повседневные, четко определенные задания. Там и здесь поднимались подозрительно пахнущие дымы, перемешиваясь с более дружелюбными испарениями; откуда-то донеслось металлическое погромохивание, словно знакомый с детства колокольный звон, который слышишь иной раз даже во сне, и ищущий взгляд мой вскоре обнаружил отряд с шестами на плечах и с висящими на шестах курящимися котлами, и по кислотовому запаху, долетающему оттуда, я догадался: никакого сомнения, это баланда из турнепса. Догадался – и сразу же пожалел о своей догадке: зрелище это, аромат этот сумели пробудить в моей, уже бесчувственной, казалось бы, груди щемящее чувство, взбухающая волна которого выдавила из давно высохших глаз несколько теплых капель, смешавшихся с оседающей на лице холодной влагой. И – что там все доводы разума, здравый смысл, трезвый расчет – в душу мне прокралось, прокралось исподволь, что-то вроде тихого, но ни с чем не смешиваемого желания, что-то вроде упрямой, хотя и стыдящейся своего безрассудства мечты: мне хотелось, мне очень хотелось еще хоть немного пожить в этом прекрасном концлагере.

8

Ничего не поделаешь, должен признать: некоторые моменты я никогда бы не смог объяснить; пускай приблизительно, все равно бы не смог, если смотреть на них с позиций того, чего ждешь, с позиций правил, с позиций разума – в общем и целом, если смотреть на них с позиций жизни, естественного порядка вещей, – насколько он мне известен, по крайней мере. Вот почему, когда, привезя куда-то на тележке, меня снова сняли и положили на землю, я никак не мог понять, какое еще имеют ко мне отношение машинка для стрижки волос и бритва. То набитое до отказа и по первому впечатлению невероятно похожее на баню помещение, на скользкую деревянную решетку в котором, среди множества топчущих друг друга, костлявых ступней, пяток, покрытых язвами колен, похожих на палки ног втиснули и меня, в общем и целом, отвечало моим ожиданиям. В голове у меня напоследок даже мелькнула мысль: ага, стало быть, здесь действует освещенцимская практика. Тем сильнее было мое удивление, когда, после короткого ожидания, в трубах под потолком послышалось сипение, бульканье и затем из кранов обильными струями неожиданно хлынула теплая вода. Однако порадоваться этому я почти не успел: я только-только развежился, собираясь вволю погреться, когда какая-то неодолимая сила – я ничего не мог поделать – вырвала меня из чащобы ног, вознесла вверх, в мгновение ока я был завернут в большой кусок ткани вроде простыни, а потом еще и в одеяло. Потом я помню плечо, на котором висел головой назад, ногами вперед, затем – дверь, крутые ступени узкой лестницы, еще одну дверь, какое-то помещение, даже, я бы сказал, комнату, где, наряду с простором и светом, мои недоверчивые глаза обнаружили едва ли не казарменную роскошь обстановки, и, наконец, койку – нормальную, настоящую, по всей видимости, одноместную кровать, с хорошо набитым соломенным тюфяком и двумя серыми одеялами, – койку, на которую я и был свален с того самого плеча. Потом помню двух человек – нормальных, красивых, с нормальными лицами, нормальными шевелюрами, в белых брюках и майках, правда, в башмаках с деревянными подошвами; я смотрел и смотрел, любуясь ими, они же смотрели на меня. Потом я заметил, что губы их движутся и что в уши мне уже несколько минут льются звуки какого-то певучего языка. У меня было такое ощущение, что они хотят что-то узнать у меня, но в ответ я только тряс головой: не понимаю. Тогда один из них спросил по-немецки, с каким-то невероятным акцентом: «Hast du Durchmarsch?» – то есть: нет ли у меня поноса? С некоторым

удивлением я услышал собственный голос, который, неведомо почему, ответил на это: «Nein»,

– думаю, и теперь, даже тут – исключительно все из того же суетного тщеславия. Тогда – после короткого обмена репликами и некоторой беготни – они сунули в руки мне два предмета. Одним из них оказалась кружка с тепловатым кофе, вторым – кусок хлеба, примерно шестая часть порции, по моей прикидке. Я мог взять кофе и выпить его, мог взять хлеб и съесть его – без всякой платы, без какого-либо обмена. Потом на какое-то время моим вниманием целиком завладело мое нутро, которое вдруг, подав признаки жизни, принялось бурлить и своевольничать, и я собрал все силы, чтобы оно, это проклятое нутро, не разоблачило бы так быстро мою жалкую ложь. Потом я обнаружил, что один из тех двух людей опять здесь, но теперь – в сапогах, в хорошей темно-синей шапке и в лагерной робе с красным треугольником.

И тут я опять взлетел на плечо и – вниз, ступенька за ступенькой, прямиком наружу. А через пару минут мы оказались в просторном сером деревянном бараке, который, видимо, представлял собой что-то вроде госпиталя или лазарета, если я не ошибся. Что говорить, здесь я снова нашел все примерно таким, каким оно и должно быть, то есть в конечном счете – полностью соответствующим моим ожиданиям, чтоб не сказать: по-домашнему обыденным и привычным; правда, теперь я не совсем понимал, почему со мной так хорошо обошлись перед этим, зачем дали кофе и хлеба. Вдоль пути, которым мы двигались, по всей длине барака нас приветствовали хорошо знакомые четырехъярусные боксы. Каждый был набит до отказа, и любой, даже не слишком натренированный глаз – а мой в этих вещах натренирован достаточно – по обилию стиснутых в них в одну, почти неразличимую массу бывших человеческих лиц, участков кожи с пятнами парши и язвами, едва прикрытых этой кожей костей, грязного тряпья, тощих рук и ног – сразу мог определить, что обилие этих деталей означает наличие в каждой ячейке по крайней мере пяти, а в иных и шести человеческих особей. Кроме того, тщетно искал я на голых досках солому – которая, в конце концов, даже в Цейце полагалась больным как подстилка, – но в общем-то, должен признать, на то недолгое время, которое я здесь мог рассчитывать провести, это было не такой уж важной деталью. Потом последовал – мы как раз остановились, и до слуха моего дошел краткий диалог между человеком, который меня тащил, и кем-то еще – новый сюрприз. Сначала я даже не понял, не обманывает ли меня мое зрение, – но нет, я не мог ошибаться: ведь барак был в этом месте ярко освещен сильными лампами. Слева и здесь я увидел двойной ряд обычных боксов, однако доски здесь были закрыты

слоем красных, розовых, синих, зеленых и лиловых одеял, над ними располагались, еще одним слоем, такие же одеяла, а между двумя этими слоями, тесно рядом друг с другом, выглядывали обритые наголо головы и совсем юные лица, одни помоложе, другие постарше, но в среднем примерно моего возраста. Едва я успел все это заметить, как меня опустили на пол, кто-то поддерживал меня за плечи, чтобы я не упал навзничь, с меня сняли покрывало, в которое я был завернут, наспех перевязали мне бедро и колено бумажным бинтом, потом натянули на меня рубашку – и я был втолкнут туда же, на нары, между двумя слоями одеял, и два сверстника справа и слева торопливо потеснились, давая мне место.

Потом меня оставили там, опять же без каких-либо объяснений, и я снова должен был полагаться только на собственные умозаключения. Во всяком случае, одно я усвоил твердо: я нахожусь в лазарете; факт этот, опять же нельзя отрицать, с каждым новым мгновением не исчезал, а оставался реальностью, и реальность эта все продолжалась и продолжалась. Затем я мало-помалу стал разбираться еще с некоторыми важными фактами. Например, окончательно убедился, что место, где я нахожусь, скорее передняя, чем задняя часть барака, о чем говорила и дверь напротив, выходящая на улицу, а также размеры открывавшегося передо мной свободного, хорошо освещенного пространства, которое служило рабочим местом для привилегированных заключенных, писарей и врачей и в центре которого стоял накрытый белой простыней стол. Те, кому пристанищем служили деревянные коробки в задней части барака, в основном болели дизентерией или тифом, а если еще не болели, то наверняка скоро должны были заболеть. Первый симптом здесь – как на это указывал и всепроникающий, неистребимый запах – Durchfall, или, по-другому,

Durchmarsch[45]: недаром люди из банной бригады сразу спросили меня об этом, и, ответив я им правду, место мне, это я тоже быстро понял, определили бы там. Дневная кормежка и ее качество в общем напоминали то, что было в Цейце: утром – кофе, баланду тоже приносят задолго до полудня, хлебная

пайка – треть или четверть порции; если четверть, то к ней чаще всего полагается и Zulage. О том, какое в данный момент время дня, я мог судить – из-за постоянного, одинаково яркого освещения, на которое никак не влияли сумерки или свет в несуществующих окнах – уже с большим трудом, – тут, правда, выручали некоторые безошибочные приметы: кофе, скажем, означало, что наступило утро, а ежевечернее прощание врача – что пора спать. В первый же вечер я познакомился с ним. Я обратил внимание на человека, который остановился как раз перед нашим

боксом. Он был не слишком высоким, так как голова его находилась примерно на одном уровне с моей. Лицо его было не просто полным, но прямо-таки пухлым, кое-где даже рыхлым от излишнего жира, и он носил не только молодцевато закрученные, почти полностью седые усы, но и, к моему изумлению, ибо чего-либо подобного я до сих пор в концлагере не встречал, тоже почти седую, весьма ухоженную бородку-эспаньолку, маленькую, на подбородке аккуратно заостренную. К ней прилагались: большая, солидная шапка, темные суконные брюки и лагерный – хотя и сшитый из добротной ткани

– пиджак с нарукавной повязкой и красным треугольником, в котором красовалась буква «F». Он внимательно оглядел меня, как принято оглядывать вновь поступивших, и что-то произнес. Я ответил единственной фразой,

которую знал по-французски: «Je ne comprends pas, monsieur»[46]. – «Oui, oui,

– произнес он с широкой дружелюбной улыбкой, слегка хрипловатым голосом. – Bon,

bon, mon fils»[47], – и положил на одеяло, прямо перед моим носом, кусочек сахара, настоящего сахара, точь-в-точь такого, каким я запомнил сахар еще по дому. Потом он обошел всех остальных ребят – и для каждого, в обоих боксах, на всех трех ярусах, у него в кармане тоже нашлось по кусочку сахара. Некоторым он просто совал сахар, возле других задерживался подольше, с третьими даже пускался в разговоры – этих он трепал по щеке, ласково щекотал им шею, о чем-то весело болтал с ними, едва ли не по-птичьему чирикавая: так человек чирикает, общаясь, в отведенное для этого время, со своими любимыми канарейками. Еще я заметил, что для иных любимчиков, особенно если те понимали его язык, у него находилось и по дополнительному кусочку сахара. Вот когда до меня дошло то, что мне столько внушали дома: образование – очень полезная вещь, а знание иностранных языков – полезная вдвойне; так оно и было.

Все это, повторяю, я наблюдал и принимал к сведению, но с неким ощущением неправдоподобности, даже, можно сказать, с осознанным ожиданием чего-то, чего я и сам не знал, – какого-то поворота, что ли, какого-то ключа к разгадке, пробуждения, так сказать. На другой день, например, когда, во время работы с другими, у него, видимо, нашлась пара минут, врач указал

пальцем и на меня. Я был вытащен со своего места и доставлен к нему на стол. Издавая какие-то дружелюбные звуки, он осмотрел меня, постучал пальцами по моим ребрам, приложил свое холодное ухо и колючие кончики усов к моей груди, затем к спине, показал знаками: дыши, покашляй. Потом уложил на спину,

велел кому-то из помощников снять с меня бумажную повязку и стал изучать мои раны. Сначала он осмотрел их издали, потом осторожно прощупал по окружности, отчего какая-то часть их внутреннего содержания выступила наружу. Он похмыкал, озабоченно качая головой, словно все это как-то его огорчило, даже испортило ему настроение, – так мне показалось. Затем он быстро перевязал раны, как бы для того, чтобы убрать их с глаз долой, и я не мог не почувствовать: они, эти раны, ей-богу, не очень-то ему понравились, даже, судя по всему, он был ими весьма недоволен.

Но, как я вынужден был убедиться, экзамен мне не удалось выдержать и по другим вопросам. Например, я никак не мог найти общий язык со своими соседями по нарам. Они же без всяких затруднений болтали друг с другом через меня или поверх моей головы, так, словно она была всего лишь незначительной помехой в их общении. Они сразу же спросили, кто я и откуда. Я сказал: «Ungar», – и тут же услышал, как по рядам туда и сюда пошла информация: венгер, Венгрия, мадьярски, матяр, онгуа и во множестве еще каких-то вариантов. Один даже сказал: «Кхенир[48]», – и то, как он засмеялся, произнеся это, и как тут же хором засмеялись остальные, не оставило у меня никаких сомнений, что кто-кто, а уж они-то нашего брата знают, причем основательно. Это было мне неприятно, мне хотелось как-нибудь дать им понять, что это ошибка, что венгры и меня не считают своим, что я в общих чертах могу разделить их мнение о венграх, а потому считаю все это странным, даже унижительным, а главное, не понимаю, почему из-за венгров они на меня смотрят косо и с неприязнью; но мне опять вспомнилось то же дурацкое препятствие: ведь сказать им все, что я думаю, я мог бы опять-таки лишь по-венгерски, ну, или, может, по-немецки, что еще хуже.

Был за мной и еще один грех, который – на протяжении многих дней – я не мог скрывать никакими силами. Я быстро усвоил, что здесь, если припрет нужда, принято подзывать одного – чуть старше, может быть, нас по возрасту

– заключенного, который был кем-то вроде помощника санитаря. В таких случаях он появлялся с плоской, на длинной ручке посудинной, которую мы засовывали под одеяло. Потом снова надо было его звать: «Bitte! Fertig!

Bitte!»[49], – звать настойчиво, пока он не подойдет. Если такая потребность возникала раз или два в день, никто, даже он, не мог отрицать ее правомерности. Но я-то вынужден был трижды, а то и четырежды в день

прибегать к его помощи, а это, я видел, его уже раздражало, что в общем-то можно было понять, ничего не скажешь. Как-то он даже понес посудину врачу, что-то ему объяснял, показывая со-

держимое посуды, и врач ненадолго задумался над вещественным доказательством моего преступления; вместе с тем жест его руки и движение головы однозначно выразили несогласие. Вечером я получил свой кусочек сахара; все как будто было в порядке, и я опять удобно устроился в надежном и – по крайней мере на нынешний момент – представляющемся незыблемым, уютном укрытии одеял и греющих меня со всех сторон тел.

На другой день, где-то между кофе и баландой, в бараке появился человек из наружного мира – заключенный с редкостной степенью привилегированности, как я сразу заметил. На нем были большая артистическая шапка из черного сукна, белоснежный халат, из-под которого виднелись тщательно отглаженные брюки и начищенные до блеска полуботинки; но лицо его, не просто с грубыми, но как-то слишком уж мужественными, словно топором высеченными, чертами и кожей в лиловато-красных прожилках, будто это была и не кожа вовсе, а обнаженное мясо, меня немного испугало. Кроме того, он был высок и плотен, в черных волосах кое-где, особенно на висках, поблескивала седина, на рукаве виднелась повязка, надпись на которой со своего места я не мог разобрать: руки у него были заложены за спину; все это, а особенно красный треугольник на груди, без всяких букв на нем, было зловещим свидетельством чистой немецкой крови. И кстати, впервые в жизни своей я видел перед собой человека, чей номер был не пятизначным, не четырехзначным, даже не трехзначным, а состоял всего – навсего из двух цифр. Наш врач тут же поспешил навстречу, чтобы приветствовать пришельца, потряс ему руку, слегка похлопал по спине – словом, всячески старался выразить ему свое расположение, как желанному гостю, который наконец-то почтил дом своим посещением, – и я вдруг, к величайшему своему изумлению, увидел, не мог не увидеть, что врач наш, по всем признакам, говорит ему обо мне. Он даже прямо показал на меня, совершив широкий круговой жест рукой, и в его быстрой, на сей раз немецкой

речи я отчетливо различил выражение: «Zu dir»[50]. Потом он еще продолжал свою речь, что-то доказывая, уговаривая, объясняя, жестикулируя, словно торговец на рынке, уламывающий покупателя в страстном желании как можно скорее избавиться от залежавшегося товара. И гость, сначала слушавший его молча, как солидный, но недоверчивый покупатель, в конце концов как будто стал поддаваться его напору и согласился приобрести товар – так, во всяком случае, я почувствовал по брошенному в мою сторону короткому, строгому взгляду маленьких темных глаз, в которых словно уже было выражение нового собственника, и по беглому кивку, и по рукопожатию, по всему его поведению,

ну и, конечно, по обрадованному, довольному лицу нашего врача; после этого гость быстро ушел.

Мне не пришлось долго ждать: дверь снова открылась, и я, бросив взгляд на вошедшего, на его полосатую робу с красным треугольником и буквой «Р» в нем

– которая, как всем известно, обозначает поляков, – на слово «Pfleger»[51] на черной нарукавной повязке, понял, что человек этот носит чин санитар. Выглядел он совсем молодым: пожалуй, ему было чуть больше двадцати. На нем тоже была добротная синяя, хотя и меньше размером, шапка, из-под которой на уши и на шею мягко ниспадали густые каштановые волосы. Лицо его, продолговатое, но не худое, с округлыми очертаниями, очень правильными, очень приятными чертами, розовой кожей, мягкими, чуть, может быть, пухлыми губами, было просто красиво, и я наверняка долго любовался бы им, если бы пришедший не направился сразу к врачу, а тот сразу бы не показал на меня, и если бы на локте у него не было одеяла, в которое он, вытащив меня из моего гнезда, тут же и завернул и – как это, видимо, здесь было принято – вскинул на плечо. Дело это оказалось не совсем простым, поскольку я обеими руками уцепился за стойку, разделяющую два бокса и как раз оказавшуюся передо мной,

– уцепился на всякий случай, инстинктивно, так сказать. При этом мне было даже капельку неловко: я лишний раз имел возможность убедиться, насколько же, видимо, затуманивает нам разум, насколько порой осложняет простые вещи перспектива умереть на пару-тройку дней раньше срока. Но санитар оказался сильнее, и тщетно я колотил обеими руками его спину и поясницу: он только смеялся, как я мог ощутить по его трясущимся плечам; тогда я смирился: пускай несет, куда хочет.

Есть в Бухенвальде странные места. Оказавшись за проволочной оградой, можно попасть к одному из тех аккуратных зеленых барачков, которые ты до сих пор – будучи гражданином Малого лагеря – с почтительным благоговением рассматривал в основном лишь издали. А теперь ты получаешь возможность узнать, что в этих бараках – по крайней мере, в этом – есть коридор, блистающий подозрительной чистотой. Из коридора куда-то ведут двери – нормальные, белые, настоящие двери, – за одной из которых тебя встречает теплая, светлая комната и приготовленная уже, как бы ожидающая тебя кровать. На кровати – красное одеяло. Тело твоё погружается в матрац, до отказа набитый соломой. Между телом и матрацем – белый, прохладный слой; постепенно ты убеждаешься, что не ошибся: да, это самая настоящая простыня. Затылком ты тоже испытываешь необычное, совсем не неприятное ощущение: господи, да это же плотно набитая

соломой подушка, на ней – белая наволочка. Pfleger складывает вчетверо и кладет к твоим ногам покрывало, в котором тебя принес; стало быть, оно тоже к твоим услугам – на тот случай, видимо, если тебя вдруг не устроит температура в палате. Затем Pfleger берет картонный лист и карандаш, садится на край кровати и спрашивает твое имя. «Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig», – говорю я. Он записывает, но ждет еще чего-то, и проходит некоторое время, пока ты наконец понимаешь, что его интересует твое имя, Name; и еще некоторое время – как это было, например, и со мной, – пока ты, роясь в памяти, натыкаешься на слова, которые некогда отличали тебя от других. Он три или четыре раза заставил меня повторить его, пока наконец, кажется, понял. Потом он даже показал мне, что написал в верхней части расчерченного – вроде графика температуры –

листа; я прочел: «Kewischtjerd»[52]. Он спросил: «Dobro jest, gut?». – «Gut»,

– сказал я, и он, положив картонку на какой-то стол, ушел.

Тут ты – ведь время у тебя, по всему судя, еще есть – можешь оглядеться, понаблюдать, немного сориентироваться. Ты, например, обнаруживаешь – если до сих пор не заметил, – что в палате ты не один. И достаточно на этих людей взглянуть, чтобы догадаться: они, должно быть, тоже больные. Можно еще поразмышлять о том, что этот цвет, это ласкающее твои глаза ощущение – не что иное, собственно, как господствующий здесь темно-красный цвет лаково отливающего материала, которым покрыт деревянный пол; но и одеяла на всех

кроватях подобраны, все до одного, того же оттенка. Коек – примерно двенадцать. Все – одноместные, а двухъярусная – лишь та, на нижнем этаже которой, тут, у перегородки, составленной из выкрашенных чем-то белым, блестящим, как эмаль, планок, лежу я; ну и еще одна, прямо передо мной, да у противоположной перегородки – еще две. Ты можешь поудивляться, зачем тут так много неиспользованного пространства, к чему эти огромные, чуть не в метр шириной – хотя, что говорить, удобные – промежутки между выстроенными ровной шеренгой кроватями, и позизумляться неразумной роскоши, обнаружив кое-где совсем пустые кровати. Ты можешь полюбоваться большим, хотя и разделенным на множество маленьких ячеек окном, через которое в палату льется свет; на глаза может попасться бледно-коричневый штамп на наволочке твоей подушки: на штампе изображен орел с крючковатым клювом и надпись,

которую ты наверняка разберешь со временем: «Waffen SS»[53]. Что касается лиц, то тщетно ты стал бы в них всматриваться, отыскивая какой-нибудь знак, какое-нибудь проявление интере-

са, разочарования, радости, досады, чего угодно, хоть какого-то проблеска любопытства, связанного с твоим прибытием

– ведь оно, в конце концов, как тебе кажется, какое-никакое, а событие, какая-никакая, а новость; и эта тишина, это безразличие, которое делается чем дальше, тем непонятнее, даже в каком-то смысле, я бы сказал, загадочнее,

станет, вне всяких сомнений, самым необычным твоим впечатлением за все время, что ты здесь проведешь. Далее, на квадратном пустом пространстве, окруженном кроватями, ты увидишь небольшой столик, накрытый чем-то белым, а дальше, у противоположной стены, еще один стол, побольше, вокруг него – несколько стульев со спинками, а у двери – большую, нарядную железную печку, в которой вовсю гудит, потрескивает огонь, и рядом с ней – черный, поблескивающий ящик, доверху наполненный углем.

И тогда ты примешься ломать голову: что все это, собственно, значит, к чему эта палата, эта шутка, этот странный розыгрыш с одеялами, с койками, с тишиной? Тебе придут в голову всякие странные вещи, ты будешь напрягать память, строить цепочки самых невероятных выводов, сортировать и сопоставлять когда-то слышанное. Возможно – будешь ты думать, как думал и я,

– это одно из тех мест, о которых мы слышали еще в Освенциме: пациентов в таких местах холят, кормят, как на убой, а потом возьмут и – например – вынут из тела все внутренности, до последней жилки: для изучения, для науки. Но конечно – ты не можешь этого не признать, – это всего лишь домысел, лишь одна из множества возможностей; да и кормежкой «как на убой», собственно, что-то пока не пахнет. Более того – подумалось мне, – там, в лагере, давно уже пришел час, когда раздадут баланду, здесь же пока – ни намека, ни звука, ни запаха. Мне и тут пришла в голову одна мысль, мысль, может быть, немного сомнительная, – но, Господи Боже мой, кто может судить, что следует считать возможным и достоверным, кто способен до конца исчерпать, без остатка представить все те бесчисленные идеи, находки, игры, шутки и достойные обсуждения замыслы, которые могут быть, все-все, осуществлены, реализованы в концентрационном лагере, из мира фантазии играючи перенесены в действительность? Предположим – размышлял я, – тебя, например, помещают в такую вот палату. Укладывают, скажем, в такую вот постель с настоящим одеялом. Ухаживают за тобой, заботятся, во всем тебе угождают – только вот есть не дают. Если угодно, можно, например, понаблюдать, кто как умирает от голода: в конце концов, это тоже ведь, наверно, по-своему интересно, а то и, Бог его знает, в каком-то высоком смысле полезно. Почему бы и нет, не мог я не

признать. Я крутил эту мысль по-разному, и она казалась мне все более здоровой, все более реальной: если мне пришло это в голову, то ведь оно могло, очевидно, прийти в голову и кому-нибудь более компетентному, думалось мне. Я принялся разглядывать соседа, который лежал слева, примерно в метре от меня. Это был немолодой уже, лысоватый дядечка, лицо его еще сохраняло какие-то человеческие черты, да и плоть на нем еще оставалась. При всем том я заметил, что уши его начинают слегка напоминать восковые листочки на стеблях иных бумажных цветов; весьма знакомым был мне и желтоватый оттенок на кончике носа и на коже около глаз. Он лежал на спине, одеяло на его груди слабо приподнималось и опадало: он, видимо, спал. На всякий случай я для пробы шепнул в его сторону: мол, как насчет венгерского? Ничего; он, как видно, не только не понимал венгерского, но и вообще меня не слышал. Я отвернулся

– и уже готовился дальше плести свои мысли, когда до меня вдруг донесся тихий, но четкий ответ: «Да...» Это произнес он, вне всяких сомнений, хотя глаз при этом не открыл и позы не изменил. Я же, совершенно по-дурацки, так обрадовался – сам не ведая почему – его ответу, что на пару минут забыл, что мне, собственно, от него надо. «Вы откуда?» – спросил я, и он, после паузы, которая опять показалась мне бесконечной, сказал: «Из Будапешта». – «Когда?» – поинтересовался я и, набравшись терпения, дождался-таки ответа: «В ноябре...» И тут я наконец задал свой вопрос: «А есть-то тут дают?» И опять он лишь по прошествии некоторого времени – для чего, видимо, была какая-то веская причина – ответил: «Нет...» Я спросил...

Но как раз в этот момент снова вошел Pflieger – и направился напрямик к моему соседу. Он завернул моего соседа в одеяло, и я только рот разинул, глядя, как легко он вскинул на плечо и вынес в дверь его довольно еще тяжелое – я лишь сейчас это увидел – тело, на животе которого висел, как бы помахав мне на прощание, лоскуток отклеившейся бумажной повязки. В тот же момент послышался громкий щелчок, потом – электрическое потрескивание, смешанное с каким-то шипением. Затем послышался голос: «Friseur zum Bad, Friseur zum Bad», то есть: парикмахеры – к бане, парикмахеры – к бане. Голос был немного картавый, но вообще-то очень приятный, вкрадчивый, я бы сказал, гладящий, мягкий и мелодичный, из тех, за которым ты почти чувствуешь взгляд говорящего; но в первое мгновение он меня так ошеломил, что я едва не выпал из кровати. Однако других больных, я видел, событие это взволновало ровно в такой же степени, в какой перед этим – мое появление в палате, и я подумал, что подобные объявления наверняка относятся здесь к числу самых обычных, зауряд-

ных вещей. Я быстро обнаружил над дверью, с правой стороны, небольшую коричневую коробочку – что-то вроде репродуктора, и догадался, что, видимо, с помощью этого устройства комендатура лагеря передает откуда-то там свои распоряжения. Некоторое время спустя опять вошел Pfleger – и опять направился к соседней кровати. Он отвернул одеяло, простыню, через какую-то щель просунул руку в матрац; по тому, как он разровнял в нем солому, потом поправил и разгладил простыню и одеяло, я понял: да, вряд ли я когда-нибудь увижу еще раз того, кто лежал рядом. И воображение мое – я ничего не мог с этим поделать – опять-таки разыгралось: не в наказание ли его убрали, не за то ли, что он выдал секрет и этот его проступок – почему бы и нет? – с помощью такого же, как тот аппарат над дверью, или другого подобного устройства – или кто его знает, чего еще – подслушали и сделали выводы? Но тут я опять насторожил уши, услышав голос – на сей раз голос больного, лежавшего на третьей койке от меня, по направлению к окну. Это был очень худой, истощенный молодой человек с очень бледным лицом и густыми, светлыми, волнистыми волосами. Он дважды или трижды произнес, или скорее простонал, растягивая гласные, одно и то же слово, или скорее имя, как я постепенно все-таки разобрал: «Петька!.. Петька!..» На что Pfleger, тоже певуче, отозвался, причем довольно доброжелательным тоном: «Цо?» Больной произнес какую-то фразу подлиннее, и Петька – я понял, что так зовут санитаря, – подошел к его койке. Он что-то долго шептал больному, с таким видом, с каким капризного ребенка уговаривают вести себя хорошо, потерпеть еще немного, быть пайнкой. Стоя над ним, Петька сунул ему руку под спину, приподнял немного, поправил под ним подушку, подоткнул одеяло с боков, и все это охотно, дружелюбно, ласково – одним словом, так, что все это напрочь спутало, перевернуло предположения, которые я до сих пор строил. Ведь выражение, появившееся на этом, снова откинувшемся на подушку лице, нельзя было истолковать иначе, кроме как выражение покоя и некоторого облегчения, а сорвавшиеся с бледных губ, похожие на вздохи и все же хорошо различимые слова: «Дзенькуе... дзенькуе бардзо...» – как слова благодарности, если, конечно, я не ошибся. И уж окончательно опрокинул мои унылые размышления насчет того, что меня ждет здесь, тот донесшийся издали, потом все более близкий шум, потом проникшее уже отсюда, из коридора, погромыхивание, позвякивание, которое ни с чем нельзя спутать и которое всего меня будоражило, наполняло все возрастающим, все более необоримым ожиданием, заставив в конце концов забыть все подозрения: они просто-напросто растворились в трепетной, всепоглощающей готовности. И вот шум уже возле на-

шей двери, в коридоре шаги, стук деревянных подошв, потом нетерпеливый, густым голосом выкрик: «Заль зеке! Эсснхола!» – то есть: «Saal sechs! Essen-holen!» – что значит: «Шестая палата! За едой!» Pfleger вышел, с чьей-то помощью – я увидел только руки в дверном проеме – внес тяжелый котел, и палату до краев заполнил аромат горячей баланды; выходит, я все-таки ошибся в своих мрачных домыслах, выходит, все не так плохо – даже если сегодня нам достанется, как я чувствую, всего лишь «дёргемюзе», а если быть совсем точным, крапивный суп.

Позже я обнаружил и немало другого; по мере того как шли часы и из часов складывались дни, я постепенно многое для себя уяснил. Во всяком случае, спустя какое-то время, пускай по чуть-чуть, пускай осторожно, с оглядкой, но я не мог не принять очевидных фактов, не мог не признать, что – как выходило по всем признакам – такое тоже возможно, такое тоже достойно доверия – хотя и, нельзя не видеть, немного необычно, – ну и, конечно, приятно, но при этом, в сущности, если подумать, ничуть не более странно, чем любые прочие странности, которые (в конце концов, дело ведь происходит в концентрационном лагере) все как одна возможны и все как одна достойны доверия. Но с другой стороны, именно это меня смущало и беспокоило, именно это в известном смысле подрывало мою уверенность: ведь если смотреть на вещи с точки зрения разума и логики, то не было ни единой причины, не было никаких понятных, никаких знакомых, никаких приемлемых для моего рассудка объяснений, почему я нахожусь именно здесь, а не в другом месте. Мало-помалу я обнаружил, что все больные тут – с повязками, не так, как в предыдущем бараке, и тогда я рискнул сделать предположение, что в других палатах, возможно, лечат внутренние болезни, а здесь, наверное – хотя кто его знает, – находится хирургическое отделение; однако все-таки я никак не мог считать это достаточной предпосылкой и удовлетворительным объяснением всей той цепи событий, тех усилий, той, просто-таки согласованной работы рук, плеч, мыслей, которые – если я начинал их сопоставлять – в конце концов и привели меня сюда, в эту палату, на эту койку. Я пробовал рассмотреть больных, разобраться, кто они такие. Как правило, заметил я, в основном это заключенные давнишние, старожилы. Привилегированным я бы ни одного из них не назвал; хотя, с другой стороны, и с теми, с кем я работал в Цейце, их тоже трудно было сравнить. Со временем в глаза мне бросилась еще одна вещь: к ним, всегда в один и тот же вечерний час, заглядывали, на минуту-другую, на пару слов, посетители, причем на груди у них я видел сплошь красные треугольники и ни одного – не то чтобы мне этого не хватало, совсем нет – зеленого, например, или

черного; однако – а вот это мне уже представлялось совсем неприличным – и желтых я среди них не встречал. Короче говоря, они были другими: по крови, по языку, по возрасту, – да и вообще в чем-то другими, не такими, как я или как любой из тех, кого я до сих пор всегда легко понимал, и обстоятельство это меня в какой-то мере стесняло. С другой стороны – этого я тоже не мог не чувствовать, – именно здесь где-то, пожалуй, может крыться и объяснение загадки. Вот, скажем, Петька: по вечерам мы засыпали, услышав его прощальное «добра ноц», по утрам с его «добре рано» просыпались. Поддержание безупречного порядка в палате, протирка полов влажной тряпкой, привязанной к палке, пополнение ящика с углем и поддержание огня в печке, раздача еды, мойка мисок и ложек, перетаскивание, когда в этом была необходимость, больных, выполнение множества – кто может их все перечислить? – прочих обязанностей – все это было делом его рук. Пускай лишних слов он не расточал, но улыбка, готовность помочь у него были для всех одинаковы; одним словом, он был словно бы и не исполнителем одной, пусть очень важной, функции, вроде привилегированного заключенного, которому поручено присматривать за палатой, но человеком, поставленным обслуживать больных, санитаром, сиделкой, Pfleger'ом – как в самом деле и значилось на его нарукавной повязке.

Или взять врача; как выяснилось, тот человек с грубо вырезанным лицом был здесь врачом, даже – главным врачом. Его появление, я бы сказал, его ежеутренний визит носил форму одинакового, неизменного ритуала. Как только комната была приведена в порядок, как только мы допивали кофе, как только из-за занавеса, сделанного из одеяла, исчезали ночные посудины (там их держал Петька), в коридоре раздавались знакомые шаги. В следующую минуту энергичная рука настежь распахивала дверь, и, со словами «Guten Morgen» – как можно было догадаться по гортанному, протяжному возгласу «моо'гн» – входил врач. Отвечать на приветствие – один Бог знает почему – здесь не было принято, да он, по всей видимости, и не ждал от нас ответа; разве что от Петьки, который встречал его со своей всегдашной улыбкой, с непокрытой головой, уважительно встав, но – как я мог наблюдать за долгое время – не с тем, хорошо мне знакомым почтением, с каким мы обязаны были встречать привилегированных заключенных, но скорее как-то так, словно он, Петька, просто его, врача, уважал, уважал по своей свободной воле, так сказать. Потом врач по одной брал с белого столика и с суровым, сосредоточенным выражением просматривал принесенные туда Петькой, сложенные стопкой истории болезни – просматривал так, словно это были, скажем, настоящие истории болезни в настоящем, скажем,

госпитале, где нет ничего важнее, нет ничего естественнее, чем вопрос о состоянии больного. Затем, обернувшись к Петьке и показав ему какой-нибудь из картонных листов, врач отдавал распоряжение —

одно из двух. Например, он читал: «Kewisch... Was? Kewischtjerd!»[54]; отвечать, вообще подавать какой-либо признак того, что ты тут и что ты его слышишь, было — это я быстро усвоил — такой же бестактностью, как и вслух

желать ему, в ответ на его приветствие, доброго утра. «Der kommt heute raus!»[55] — говорил он затем, понимая под этим — со временем сообразил я, — что в первой половине дня больной должен, если в состоянии, то на своих ногах, если не в состоянии, то на плече у Петьки, явиться к нему, в его кабинет, находящийся в десяти—пятнадцати метрах от выхода, к его скальпелям, ножницам и бумажным бинтам. (Он, кстати говоря, и не подумал спросить моего согласия, как это сделал врач в Цейце, и не обращал никакого внимания на мои вопли, когда ножницами причудливой формы сделал на моем бедре два новых разреза; но по тому, как он затем выдавил гной из ран, как затолкал в них марлю, как, наконец, смазал их — хотя и очень экономно — какой-то мазью, я не мог не сделать вывод о его несомненном профессиональном умении.)

Второе из его возможных распоряжений было: «Der geht heute nach Hause!»[56], — что означало: данного пациента он считает вполне выздоровевшим и тот может возвращаться — nach Hause, то есть домой, то есть — обратно в лагерный барак, к своей работе, в свою бригаду, само собой. На следующий день все происходит точно так же, по тем же правилам, по тому же порядку, в

котором и Петька, и мы, больные, и даже вроде бы предметы обстановки с одинаковой серьезностью участвуют, играют свою роль, подыгрывают врачу, с одинаковой серьезностью ежедневно повторяют, репетируют, подтверждают, как бы удостоверяют неизменность этого ритуала, словно ничего нет более естественного, ничего нет более несомненного, чем делать вид, будто у него, врача, самое важное дело, единственная и с энтузиазмом выполняемая задача — исцелять нас, а у нас, больных, — как можно скорее выздороветь, вставать с больничной койки и возвращаться домой, к повседневным делам и заботам.

Позже я узнал о врачах побольше. Иногда получалось так, что в процедурной было много народу и надо было какое-то время ждать своей очереди. В таких случаях Петька снимал меня с плеча, усаживал в сторонке, на скамейку, и я должен был ждать, пока врач, будучи в хорошем настроении, обращался ко мне,

подбадривая: «Комм, комм, комм, комм!»[57] – и вполне, собственно, дружелюбно, но все-таки вовсе не таким уж приятным образом хватал меня за ухо, подтягивал к себе и одним движением вскидывал на процедурный стол. Бывало и так, что в процедурной царила суета, толкотня, санитары приносили и уносили пациентов, приходили ходячие больные, рядом работали другие врачи,

– и тогда мною занимался какой-нибудь врач рангом пониже, делая очередную

процедуру скромно, где-нибудь в сторонке, подальше от стоящего в центре стола. С одним из таких врачей, низеньким, седоволосым, с крючковатым, словно у хищной птицы, носом, тоже с красным треугольником, тоже без буквенного обозначения, и, пусть не с двух- или трехзначным, но все же довольно аристократическим четырехзначным номером, я даже познакомился, даже, можно сказать, подружился. Он и сообщил мне между прочим – а Петька потом подтвердил, – что врач наш находится в концентрационном лагере ровно двенадцать лет. «Zwölf Jahre im Lager», – сказал он тихо, качая головой, с таким выражением, с каким говорят о необычном, не совсем достоверном и – по крайней мере, на его взгляд, как мне показалось, – прямо-таки непосильном для человека свершении. «Und

Sie?»[58] – тут же спросил я. «O, ich, – тут же изменилось его лицо, – seit

sechs Jahren bloss»[59]; и он пренебрежительно махнул рукой, словно речь шла о каком-то пустяке, о каком и говорить-то все-речь смешно. Однако потом он сам стал меня выпрашивать: поинтересовался, сколько мне лет и как я очутился так далеко от дома; так, собственно, и начался наш разговор. «Hast du irgend etwas gemacht?» – то есть: я что-то, видимо, натворил, что-нибудь очень плохое, предположил он, а я сказал, «nichts», совершенно ничего. Тогда почему я тут, спросил он, а я ответил: по той же простой причине, по

какой и остальные евреи. Ну хорошо, упорствовал он, а почему меня арестовали-то, «verhaftet», и я вкратце, как мог, рассказал ему про то давнее утро, про автобус, про таможду, потом про жандармерию. «Ohne dass deine Eltern?» – то есть неужто даже не известив родителей, допытывался он, и я сказал: само собой, «ohne». Он выглядел просто ошеломленным, словно никогда про такое не слыхивал, и я даже подумал: ну-ну, хорошо ты, видать, на шесть лет спрятался здесь от всего мира. Он тут же передал то, что узнал от меня, другому врачу, который занимался кем-то рядом с нами, тот – еще кому-то, врачам, санитарам, больным посолиднее. В конце концов я обнаружил, что со всех сторон на

меня смотрят, качая головами, люди и на лицах у них у всех – какое-то странное выражение, которое даже немного смущало меня: мне казалось, они меня жалеют. Мне ужасно хотелось сказать им, мол, чего меня жалеть-то, для этого, по крайней мере в настоящий момент, нет никаких причин; но я все же так и не сказал ничего, что-то меня удержало, как-то не хватило духу сказать им это: ведь я видел, что им приятно, им это чувство доставляет известное удовольствие. Более того (конечно, возможно, что я ошибался, хотя верится в это с трудом), позже – случалось еще, что они вот так же меня спрашивали, выпытывали, – у меня складывалось впечатление, что люди прямо-таки ищут какой-нибудь повод, чтобы испытать это чувство, что у них для этого есть некая причина, некая потребность, они как бы хотят найти возможность для оправдания чего-то – может быть, для своего способа жить в данных условиях или для доказательства того, что они еще вообще способны на такое, – по крайней мере, мне как-то так казалось. А потом они переглядывались с таким видом, что я испуганно озирался, не следит ли за нами кто-нибудь, кому это вовсе не полагается знать; но взгляд мой везде наткнулся лишь на одинаково нахмуренные лбы, сощуренные глаза, стиснутые рты – словно людям этим нечто вновь одновременно пришло в голову и нашло себе подтверждение в моих словах, и я даже думал: а может, то, что пришло им в голову, и есть причина, по которой они здесь находятся.

Ну и потом, например, посетители: их я тоже пробовал рассматривать, пробовал угадать, вычислить, каким ветром их сюда занесло. Я заметил, что чаще всего они приходят к вечеру, как правило, всегда в одно и то же время,

– из этого я понял, что здесь, в Бухенвальде, в Большом лагере, тоже, видимо, есть такой, более или менее свободный час, вроде того, какой был у нас в Цейце, и здесь, очевидно, он тоже находится в промежутке между возвращением бригад с работы и вечерней поверкой. Среди посетителей больше всего было заключенных с буквой «Р», но видел я и «J», и «R», и «T», «F», «N», и даже «No», и уж не помню, какие еще; во всяком случае, могу сказать, что благодаря этим людям я узнал и усвоил много новых и интересных вещей; больше того, именно благодаря им я получил возможность более или менее точно представить, какие здесь обстоятельства и условия, какова здесь, так сказать, общественная жизнь. Старожилы Бухенвальда почти красивы, лица у них – это не лица истощенных людей, их походка и движения проворны, многим разрешено носить прическу, а полосатую лагерную одежду они надевают лишь днем, выходя на работу; так делал, например, и наш Петька. Если же вечером, после раздачи ужина, то

есть хлебной пайки (обычно треть или четверть порции, вместе с привычно полагающей или привычно не полагающейся Zulage), он собирался, например, в гости, то тоже надевал рубашку или пуловер, а поверх них – с наслаждением, перед нами, больными, еще, может быть, как-то скрываемым, но в общем-то совершенно явно отражавшимся на его лице и в движениях – модный коричневый костюм в бледную полоску; правда, на спине пиджака вырезан был квадрат с заплатой из лагерного полосатого холста, по внешним швам брюк тянулись нестираемые рыжие полосы масляной краски, а на груди и на левой штанине красовалось по красному треугольнику и был нашит личный номер; но это были уже мелочи. Больше неприятных моментов, даже, я бы сказал, страданий доставляли мне случаи, когда он сам готовился к приему гостей. Причиной тому было одно неудачное обстоятельство: как уж там сложилось, не знаю, но как раз возле изголовья моей койки находится на стене электрическая розетка. Одним словом, как бы я ни силился чем-то занять себя, изучая идеальную белизну потолка, эмалевый абажур лампы, погружаясь в свои мысли, я все же не мог не замечать, как Петька присаживается возле розетки с миской и личным электрическим кипятильником, не мог не слышать шипение и потрескивание растопленного маргарина, не мог не вдыхать всепобеждающий аромат поджариваемых на маргарине тоненьких луковых колец и лежащихся на них ломтиков картофеля, а то еще и кружочков порезанного вурста из Zulage; иногда же меня чуть с ума не сводил легкий, ни с чем не сравнимый хруст и усиливающееся в какой-то момент шипение, исходившее – глаза мои хоть на миг, да поворачивались туда, а затем, убегая тут же в сторону, долго еще находились в плену волшебного, словно мираж, зрелища – от перламутровой белизны кружка с ярко-желтой сердцевиной: это было яйцо, разбитое в горячую миску, и готовилась глазунья. Когда все пожарено, все готово к приему, открывается дверь и входит гость. «Добре вечер!» – говорит он, дружелюбно кивая; он тоже поляк, имя его я воспринимаю как «Збышек»; а в определенных условиях или, может, в ласкательной форме, как «Збышку»; он тоже по должности Pfleger, где-то рядом, как я узнал, в какой-то другой палате. Он тоже появляется принаряженный, в сапогах и в короткой, то ли спортивной, то ли охотничьей – хотя на спине, само собой, тоже есть полосатая заплата, а на груди номер – темно-синей суконной куртке, под которой – черный тонкий свитер с высоким, до подбородка, воротником. Высокая, плотная фигура, наголо стриженная – то ли по необходимости, то ли по каким-то собственным соображениям – голова, веселое, лукавое и умное выражение мясистого лица – все это делало его в моих глазах человеком прият-

ным, внушающим симпатию, хотя вообще-то я без всякой охоты поменял бы на него, скажем, Петьку. Они устраиваются за дальним, большим столом, съедают свой ужин, потом долго беседуют, шутят, посмеиваясь; в их разговор иногда вставляет слово-другое кто-нибудь из лежащих в палате поляков; а то еще оба санитары, поставив локти на стол и крепко сцепив ладони, меряются силой: обычно, к большой радости всей палаты

– и, само собой, к моей тоже, – Петьке удастся одолеть гостя, хотя на первый взгляд тот сильнее; короче говоря, я понял, что они, Петька и Збышек, делятся здесь друг с другом и привилегиями, и бедами, и радостями, и заботами, и, по всей видимости, даже материальными благами, и пайком, то есть они, как принято говорить, закадычные друзья. Кроме Збышека, забежали к Петьке и другие люди, обмениваясь с ним парой торопливых слов, а иногда, быстро и с оглядкой, каким-нибудь предметом; я ни разу не видел, что это был за предмет, однако суть дела была мне ясна, и я их, само собой, легко понимал. Третьи же приходили – поспешно, крадучись, тайком – к кому-нибудь из больных. Посетитель на минутку присаживался на край кровати, кто-то даже клал на одеяло, смущенно, словно оправдываясь, маленький сверточек, завернутый в грубую бумагу. И потом – хотя я почти не слышал их шепот, а если бы и слышал, то вряд ли понял, – видимо, заботливо расспрашивали больного: мол, как идет лечение, есть ли сдвиги, – сами рассказывали: дескать, у них дела так-то и так-то, такой-то и такой-то велели кланяться и спросить насчет здоровья, обещали: как же, обязательно передадут привет тем– то и тем-то, и тут вспоминали: ах ты, пора уже, время-то как быстро бежит, и, похлопав больного по плечу или по руке: мол, не вешай нос, старина, мы будем забегать, как сможем, уходили, опять же крадучись, торопливо, но чаще всего с довольным выражением на лице, хотя вообще-то никакого иного результата, никакой осязаемой пользы, как я мог судить, от такого визита не было, и мне оставалось предполагать, что приходили они, видимо, лишь потому, что так полагается, ради нескольких слов, ради того, чтобы просто повидаться. При всем том, если бы я сам не догадывался, торопливость их ясно показывала: по всей очевидности, они совершают нечто запретное, что, как можно полагать, вообще осуществимо лишь благодаря попустительству Петьки и, скорее всего, при условии, что на все про все им хватит пары минут. Более того, подозреваю, и даже, обладая довольно большим опытом, не просто подозреваю, но прямо заявляю: сам этот риск, сама эта самонадеянность, сама эта, я бы сказал, дерзость – тоже некоторым образом неотделимы от каждого подобного посещения; во всяком случае, к такой мысли я приходил, наблюдая

трудно определимое, но светящееся некой тайной радостью выражение на их лицах, выражение, какое бывает после успешного, оставшегося ненаказанным озорства; людям этим – казалось мне – словно бы удалось чуточку изменить то, что их окружает, пробить брешь в прочном, незыблемом укладе, расшатать однообразие будней, немножечко одолеть себя, а может, и самоё природу – так, по крайней мере, я это себе представлял... Но самых странных людей я увидел у постели одного больного, лежавшего далеко от меня, у противоположной перегородки. Больного этого принес на плече, еще утром, Петька; принес – и долго суетился возле него. Я догадывался, что случай, должно быть, тяжелый, и слышал еще, что больной – русский. А вечером посетители заполнили чуть не половину палаты. Тут было много букв «R», да и немало других букв; пришедшие были одеты в меховые шапки, странные стеганные, на вате, штаны. Я видел людей, например, с головой, наполовину покрытой нормальными волосами, а наполовину гладко обритой. И других, с шевелюрой, в которой точно посередине, от лба до затылка, тянулась выстриженная, в ширину машинки, полоса. Видел куртки и с обычной полосатой заплатой, и с двумя перекрещивающимися полосами, сделанными красной масляной краской, – так зачеркивают, например, на письме ненужную букву, цифру или другой какой-нибудь знак. У некоторых на спине горела, далеко видная, красная окружность, в центре которой стояла, зазывно, маняще, жирная красная точка, похожая на мишень, как бы обозначая: надо стрелять, если понадобится, вот сюда.

Все они стояли, сгрудившись вокруг койки, переминаясь с ноги на ногу, тихо переговариваясь о чем-то; кто-то наклонялся, чтобы поправить подушку, другой – так мне казалось – пытался уловить какое-то слово, взгляд больного; я вдруг заметил, как у кого-то из них в руках мелькнуло нечто очень желтое, откуда-то появились нож и – с Петькиной помощью – кружка, в жестяное дно плеснула струйка чего-то жидкого – и, пускай я не верил своим глазам, нос не мог меня обмануть, он недвусмысленно говорил: предмет, который я только что видел, был не чем иным, как лимоном, да, да, в самом деле, тут не поспоришь, настоящим лимоном. Потом снова открылась дверь, и я оторопел: на сей раз в палату торопливо вошел врач, чему до сих пор – в такое необычное время – примеров еще не было. Все расступились, давая ему дорогу, он же склонился над больным, что-то ощупал на нем очень быстро – и тут же ушел, причем с очень мрачным, суровым, я бы сказал, рассерженным лицом, не сказав никому ни слова и ни на кого не взглянув, более того, словно бы даже стараясь не встречаться с направленными на него взглядами, – мне, по крайней мере, так

показалось. Вскоре я увидел, что посетители как-то странно притихли. Некоторые, отделившись от остальных, подходили к койке, склонялись над тем, кто лежал на ней; потом посетители стали уходить, по одному, по два, как приходили. Но теперь они выглядели немного более удрученными, немного более сторбленными, немного более усталыми; да мне и самому в эту минуту стало как-то жаль их, потому что я не мог не видеть: они словно бы окончательно и бесповоротно лишились некой сокровенной – пускай наивной – мечты, тайно лелеемой в сердце – пускай нереальной – надежды. Спустя некоторое время Петька очень бережно поднял на плечо и куда-то унес труп.

Ну и, наконец, был еще один, совершенно невероятный случай, который приключился со мной. Я встретил в умывальной одного человека. Это было время, когда я уже и не представлял, что я могу мыться где-то еще, а не под кранами (которые, кстати, тут можно было открывать и закрывать) в умывальном помещении, находившемся в конце коридора слева; да и сюда я приходил уже не столько по суровой необходимости, сколько потому, что так принято; более того, со временем я заметил, что чувствую уже едва ли не недовольство, что помещение это – нетоплено, вода – холодная, а полотенца – отсутствуют. Здесь находилось и то красное, переносное, похожее на открытый шкаф приспособление с постоянно чистым внутренним резервуаром, за которым кто-то

– неизвестно кто – присматривает, заменяет и моет его. Однажды, когда я как раз собирался уходить, в умывальную вошел человек. Он был красив; его прямые черные волосы были зачесаны назад, но по сторонам непослушно падали обратно на лоб; кожа лица, как у очень смуглых людей, чуть отливала зеленым; немолодой уже возраст, ухоженный вид и белоснежный халат едва не заставили меня принять его за врача, если бы не нарукавная повязка, которая

извещала, что он всего лишь Pfleger, а буква «Т»[60] в красном треугольнике

– что он чех. Он остановился, увидев меня, и словно бы удивился, даже, можно сказать, слегка остолбенел – и некоторое время внимательно изучал мое

лицо, выглядывающую из распахнутого ворота рубашки шею, ключицы, торчащие из штанин ноги. Он спросил меня о чем-то; я ответил словами, которые усвоил за это время, прислушиваясь к разговорам поляков: «Не розумем». Тогда он спросил по-немецки, кто я и откуда родом. Я сказал: унгар, отсюда, из Saal sechs. На что он, пользуясь для пущей понятности еще и указательным пальцем,

произнес: «Du: warten hier. Ik: wek. Ein moment zuriick. Verstehen?»[61] Я сказал, конечно, мол, «ферштейн». Он вышел, вернулся, и я обнаружил в руках у себя – четверть порции хлеба и небольшую, аккуратную, уже с отогнутой крышкой консервную банку с нетронутым, розовым мясным фаршем. Я поднял глаза, чтобы поблагодарить его, – и увидел лишь дверь, которая как раз закрывалась за ним. Вернувшись в палату, я попытался рассказать об этом случае Петьке и даже несколькими словами описать своего благодетеля; он сразу догадался, что речь идет о Pfleger'e из соседней палаты, Saal семь. Он назвал и имя: я расслышал его как Бауш, но, поразмыслив, решил, что, пожалуй, правильней будет все-таки: Богуш. Так произносил его, кстати, и мой новый сосед – больные в палате с течением времени менялись. Вот и ко мне, на второй ярус моей койки, Петька – после того как, еще к вечеру первого дня, унес оттуда кого-то – вскоре положил новичка, парня моего

возраста и, как потом выяснилось, тоже еврея, но по языку поляка, чье имя Петька и Збышек произносили как Кухальский или Кухарский, всегда именно так, нажимая на «харский»; иногда они подшучивали над ним и, должно быть, поддразнивали, разыгрывали парня, потому что он часто злился, – как я мог, по крайней мере, судить по его быстрой, взволнованной речи, раздраженному тону ломающегося голоса и дождю соломинок, падающему мне в лицо сквозь щели досок, – что весьма забавляло, как я видел, всех поляков, в нашей палате. Рядом со мной, на койке, где когда-то лежал венгр, тоже появился новый больной, и тоже парнишка вроде меня; сначала я не очень-то мог разобраться, что он за птица. С Петькой, правда, они хорошо понимали друг друга; при всем том ухо мое, постепенно накапливающее практику, не вполне воспринимало его как поляка. Когда я попробовал заговорить с ним по-венгерски, он не ответил; остальное же – и начинающие отрастать рыжие волосы, и довольно упитанное, свидетельствующее об обеспеченной жизни в прошлом лицо с рассыпанными вокруг носа веснушками, и цепкий, быстро ориентирующийся в любой обстановке взгляд голубых глаз – сразу показалось мне немного подозрительным. Пока он устраивался и осваивался, я заметил на его запястье, на внутренней стороне, синеватые значки: это был освен-цимский семизначный номер. Лишь когда однажды утром внезапно распахнулась дверь и на пороге появился Богуш, чтобы, по сложившемуся уже обычаю, положить мне на одеяло – так он делал раз или два в неделю – свои дары, состоящие из хлеба и мясных консервов, а потом, не оставив мне времени на благодарность и даже в сторону Петьки только кивнув на бегу, тут же выскочить в дверь, – тут-то и выяснилось, что

по-венгерски мой сосед все же говорит, причем не хуже, чем я; «Кто это?» – немедленно поинтересовался он. Я сказал, что, насколько мне известно, это Pflieger из соседней палаты, некто Бауш, и тут он поправил меня: «Может, Богуш?» И объяснил, что это очень распространенное имя в Чехословакии, откуда, кстати, и он сам. Я спросил: как это получается, что он до сих пор не говорил по-венгерски; он ответил: а так, он венгров терпеть не может. Я согласился с ним: ну да, он прав, в общем-то у меня тоже не слишком много причин их любить. Тогда он предложил говорить по-еврейски, но мне пришлось сознаться, что еврейского я не знаю; так что нам в конце концов пришлось – таки остановиться на венгерском. Он сказал свое имя: Луиз, или, может, Лойиц, я не совсем понял. Я даже заметил: «Ага, значит, Лайош». Он яростно запротестовал: Лайош – это по-венгерски, а он – чех, и он настаивает, чтобы его звали Лойза. Я спросил, откуда он знает столько языков, и он рассказал,

что вырос в Верхней Венгрии[62], откуда они бежали от венгров, или, как он выразился, от «венгерской оккупации», бежали семьями, со всей родней, с

массой знакомых; в самом деле, мне вспомнилось, как однажды, дома, были вывешены флаги, весь день гремела музыка, звучали радостные речи: Верхняя Венгрия снова стала венгерской. В концентрационный же лагерь он попал из какого-то – если я правильно разобрал – Те-резина. «Ты наверняка его знаешь как Терезиен-штадт», – заметил он. Я ответил, мол, вообще никак не знаю, чему он весьма удивился, но удивился примерно так, как я удивлялся людям, которые даже про чепельскую таможню не слышали. Потом он объяснил: «Это гетто в Праге». Как он утверждал, кроме венгров, чехов, ну и, конечно, евреев и немцев, он может разговаривать со словаками, поляками, украинцами, даже с русскими, если потребуется. В конце концов мы с ним подружился; я рассказал ему – он специально об этом попросил, – как познакомился с Богушем, и потом еще много всего рассказывал: например, про свои впечатления и переживания, когда я только попал в палату, и про свои мысли в первый день; ему это так понравилось, что он даже Петьке перевел, и тот очень смеялся; рассказал я и про свои подозрения и страхи, которые испытал, когда Петька унес моего соседа, венгра, и Петька объяснил, что смерть того венгра ожидалась со дня на день, а с моим поступлением она совпала случайно; все это парнишка, мой новый знакомый, переводил то Петьке, то мне, и меня только одно смущало: чего он каждую фразу начинает словами «тэн матор», то есть «этот венгр», а уж потом, видимо, говорит, что я сказал то-то и то-то; но Петька на эту его привычку не обращал, к счастью, как

мне показалось, никакого внимания. Еще я заметил – хотя и не подумал в связи с этим ничего плохого, не сделал никаких выводов, – как часто и как подолгу его не бывает в палате; и лишь когда он однажды вернулся в палату с хлебом и банкой консервов, которые явно подарил ему Богуш, я немного удивился – вообще-то по-дурацки удивился, должен признать. Он сказал, что тоже случайно встретил Богуша в умывальной, так же, как и я. Тот и с ним заговорил, как со мной, и дальше все шло так же. Правда, была все-таки разница: они ведь могли разговаривать друг с другом, когда выяснилось, что у них одна родина, чему Богуш ужасно был рад, и это в конце концов само собой разумеется, так и Лоиз считал, да и я это понимал, чего уж тут. Все это – если смотреть на вещи разумно – я не мог не признать в целом понятным, ясным и логичным; я и сам думал так же, как он, и не удивился, услышав: «Не сердись, что я твоего покровителя отобрал», – это значило, отныне все, что до сих пор доставалось мне, будет доставаться ему и теперь я буду смотреть, как он ест, как до сих пор он смотрел, как ем я. Но до чего же я был ошарашен, когда спустя какую-нибудь минуту вдруг открылась дверь, в нее, как всегда, торопливо вошел Богуш – и направился ко мне. С тех пор его посещения относились к нам обоим. Он приносил нам еду то по отдельности, то одну порцию на двоих – когда как получалось, думаю; но в последнем случае никогда не забывал показать жестом: дескать, разделите по– братски. Визиты его и теперь были торопливыми, времени ему не хватало даже на два слова, лицо его и теперь постоянно было озабоченным, иной раз даже удрученным, а то и почти сердитым, едва ли не гневным, как лицо человека, у которого на плечах лежит теперь двойной груз, двойная обязанность, но которому ничего не остается, как из последних сил нести крест, что свалился, ни с того ни с сего, ему на плечи, – и я лишь успокаивал себя мыслью: делает он это исключительно потому, что находит в этом, видимо, какую-то радость, какую-то необходимость, в этом заключается, скажу так, способ, позволяющий ему жить; другой причины, особенно если принять во внимание цену, которую, вероятно, надо платить за такие редкостные, недостижимые в наших условиях лакомства, я просто не мог найти, с какой стороны ни смотрел, сколько ни ломал над этим голову. Вот когда я, кажется, понял – по крайней мере, в самых общих чертах – этих людей. Ибо, сколько я ни перебирал свои прежние наблюдения, сколько ни анализировал свой жизненный опыт, у меня, когда я восстанавливал всю цепь зависимостей, и не могло оставаться сомнений: да, пускай в другой форме, но это то же самое, что я хорошо знаю,

– то есть в конечном счете все тот же способ жить в согласии с собой, все то же упрямство, причем не просто упрямство, но определенный, весьма изощренно разработанный, тонко отточенный его вид, самый что ни на есть эффективный из всех, мне до сих пор известных; ну и, главное, грех отрицать, самый для меня полезный.

Могу твердо сказать: со временем человек способен привыкнуть даже к чудесам. Постепенно я научился даже до процедурной добираться своим ходом – если врач, совершая свой утренний визит, отдавал распоряжение явиться к нему на перевязку, – и добирался просто так, босиком, закутавшись поверх рубахи только в одеяло, при этом в холодном, щиплющем уши воздухе, среди множества знакомых запахов, ощущая и некий новый, пока едва уловимый аромат

– аромат, по всей вероятности, приближающейся весны, – если иметь в виду, что время не стояло на месте, двигалось вперед. А когда я тащился обратно и мне случайно бросалось в глаза, как несколько человек в лагерных полосатых робах тянут из серого барака по ту сторону проволочной ограды тележку на резиновых колесах, вроде тех, что прицепляют к грузовикам, и из груды, что наполняет ее с верхом, торчат мерзлые, желтые, высохшие конечности, я лишь плотнее стягивал на себе одеяло, чтобы, не дай Бог, как-нибудь не простудиться, и торопился вернуться в свою теплую палату, чтобы там, чуть– чуть отряхнув ноги от налипшей грязи, нырнуть поскорее под одеяло и угнездиться там поудобнее. Мы разговаривали о том о сем с соседом, пока он

был тут (спустя какое-то время его выписали, послали «nach Hause»[63], а его место занял какой-то пожилой поляк), или я просто глазел по сторонам и

слушал доносящиеся из репродуктора распоряжения; могу без колебаний сказать: благодаря этим распоряжениям, ну и еще с помощью некоторой фантазии я отсюда, из койки, как бы волшебным образом мог получать полное представление о жизни лагеря с первых лучей рассвета до отбоя, а то и до более позднего часа, ощущать все его краски, вкусы, запахи, видеть всю его суету, все, что в нем происходило, все его мелкие и значительные события. Скажем, команда «Friseur zum Bad, Friseur zum Bad» звучит несколько раз в день, звучит все чаще—и мне ясно: прибывают очередные этапы. Эта команда каждый раз сопровождается другой: «Leichenkommando zum Tor», то есть «бригада тру-повозов – к воротам»; а если требуют еще и дополнительных людей, я могу судить о состоянии и качестве новой партии прибывших. Я уже знаю, что в таких случаях и «Effekten», то есть складские служащие, должны спешить к складам с одеждой, причем иногда «im

Laufschritt», то есть бегом. Если же вызывают zwei или vier Leichenträger, скажем, «mit einem» или «zwei Tragbetten sofort zum Tor!»[64] – я точно знаю, что на сей раз где-то: на работе, на допросе, в подвале, на чердаке, да мало ли где – произошел несчастный случай. Я в курсе дела, что у бригады «Kartoffelschaler», то есть чистильщиков картошки, есть не только дневная, но и «Nachtschicht», то есть ночная смена; я много чего еще знаю. Но каждый божий день, всегда точно в один и тот же вечерний

час, невзирая ни на погоду, ни на время года, из репродуктора доносится загадочный зов: «Ela zwo, Ela zwo, auf-marschieren lassen!» – над которым я первое время немало ломал себе голову. Все оказалось довольно просто, но потребовалось время, пока я, по последовавшей за этим какой-то торжественной, бесконечной, я бы сказал, церковной тишине, по командам «Mützen ab!», «Mützen auf!», по доносящимся иногда, как тонкий, прерывистый писк, обрывкам музыки догадался: там, за стенами лазарета и проволочными оградами, лагерь стоит на поверке; «aufmarschieren lassen» означает приказ к общему построению, «zwo» – это «zwei», а «Ela», по всей очевидности, «L. Д», то есть

«Lageraltester»[65], и, судя по этому, в Бухенвальде функционируют первый и второй, то есть два Lageraltester'a, – что, в сущности, если подумать, не такое уж невероятное дело, поскольку речь идет об огромном лагере, где давно уже выдан, как я узнал, девятностотысячный номер. Постепенно затихает и наша палата; уже и Збышек ушел – сегодня была его очередь пользоваться гостеприимством Петьки, – Петька же бросает вокруг последний взгляд и, произнеся обычное свое «добра ноц», выключает электричество. Я нахожу самую удобную позу, какую позволяют принять моя койка и мои раны, натягиваю на уши одеяло – и сразу погружаюсь в беззаботный сон; ну о чем еще можно мечтать в концентрационном лагере.

Лишь две вещи меня немного тревожат. Во-первых – мои раны: ничего не скажешь, они все еще на месте, кожа вокруг них все еще пылает, плоть в них еще отзывается болью на каждое прикосновение, но по краям уже появилась тоненькая пленка, кое-где возникает темная короста, врач уже не шпигует их марлей, вообще едва-едва зовет на перевязку, а если зовет, то управляется – что крайне меня беспокоит – очень быстро, и лицо его в такие моменты – что меня беспокоит еще сильнее – выглядит довольным. Вторая вещь, что отрицать, в общем-то очень даже приятная. Когда Петька и Збышек, прервав беседу, вдруг поднимают головы и смотрят куда-то в пространство, досадливо шикая на нас, остальных, чтобы мы прекратили свои разговоры, слух мой тоже улавливает глухой гул, иногда – прерывистые, похожие на

далекий собачий лай звуки. За стенкой, в палате Богуша, нынче тоже большое оживление – об этом свидетельствуют доносящиеся оттуда отзвуки разговора, который долго не смолкает и после того, как Богуш выключает свет. Вой сирен теперь раздаётся по нескольку раз в день, а ночью я частенько просыпаюсь от команд, летящих

из репродуктора: «Krematorium, sofort ausmach'n!»[66] – и я понимаю: лагерное начальство очень бы не хотело, чтобы огни крематория привлекли внимание бомбардировщиков. Парикмахеры я уж и не знаю, когда спят; рассказывают, новоприбывшие теперь иной раз по два-три дня стоят нагишом перед баней, пока наконец попадут внутрь; люди из Leichenkommando, говорят, работают не покладая рук. В нашей палате больше нет пустых коек, и среди обычных язв, резаных ран я намедни впервые услышал от одного парня, венгра, лежащего у противоположной стены, что у него огнестрельное ранение. Получил он его во время многодневного пешего марша из одного дальнего и, как я понял из его рассказа, очень похожего на Цейц лагеря в какой-то деревне – если я правильно понял – под названием Ордруф; они шли колонной, все время стараясь уйти от неприятеля, то есть от наступающих американцев, и пуля, собственно, предназначалась шедшему рядом и упавшему от изнеможения человеку, а попала вот ему в ногу. Ещё повезло, что кость не задело, добавил он, а я подумал: ну, со мной бы такого не произошло: в меня пуля, куда ни попади, везде бы на кость наткнулась, тут и говорить нечего. Вскоре выяснилось, что в концлагере он вообще только с осени, а номер у него – восемьдесят с чем-то тысяч, похвастаться нечем, особенно в нашей палате. Словом, отовсюду, куда ни повернись, ползут слухи о близящихся изменениях, неудобствах, беспокойствах, пертурбациях, заботах, всяческих неприятностях. То Петька обходит койки с каким-то списком, опрашивает всех, в том числе и

меня: кто может передвигаться на своих ногах, «laufen»[67]. Я ответил ему:

не, не, я не могу, ich kann nicht. Так, так[68], ответил он, du kanst, ты можешь, и внес мое имя в список, так же, кстати, как и всех остальных в палате, даже Кухарского, у которого обе распухшие ноги – я раз видел в процедурной – покрыты тысячами параллельных разрезов, похожих на раскрытые рты. На следующий вечер – я только успел прожевать свой хлеб – из репродуктора раздается: «Alle Juden im Lager» – все евреи в лагере – «sofort» – немедленно – «antreten!» – построиться; голос звучал так грозно, что я даже сел в койке. «Ты чего?» – спросил Петька удивленно. Я показал ему на репродуктор, но он только улыбнулся своей обычной улыбкой и обеими руками объяснил мне: мол, цыц, притихни, к чему эта

суета, к чему эта спешка? Однако репродуктор и дальше весь вечер командовал, скрежетал, вопил; «Lagerschutz», – взывает он к команде внутрилагерной охраны, состоящей из привилегированных заключенных с дубинками: их ждет немедленная работа; но, видимо, он ими не вполне доволен, так как вскоре – я, слыша это, едва удерживаюсь от дрожи – он требует явиться к воротам – «aber im Laufschrift!», только бегом, двух самых могущественных представителей лагерной аристократии: старосту лагеря и капо внутрилагерной охраны. Потом в голосе репродуктора зазвучали недоумение и упрек, чуть ли не обида: «Lageraltester! Aufmarschieren lassen! Lageraltester! Wo sind die

Juden?!»[69] Коробка над дверью просто разрывается от призывов,

требовательных вопросов, настойчивых напоминаний, трещит, рычит, скрежещет; Петька лишь досадливо машет рукой или бормочет: «Курва его мать!» Тогда я успокаиваюсь – в конце концов, ему лучше знать, что к чему – и лежу себе без забот. Однако, если вчера вечером что-то мне просто очень не нравилось, то сегодня, видимо, никуда не денешься, уклониться уже не удастся. «Lageraltester! Das ganze

Lager: antreten!»[70] – гремит репродуктор; спустя некоторое время извне доносятся выстрелы, рев моторов, собачий лай, глухие удары дубинок, топот бегущих ног, затем топот более тяжелый, солдатских сапог, – все это говорит о том, что – раз некоторые по-хорошему не понимают – военные тоже могут взяться за дело, могут показать, к чему приводит непослушание; наконец – хотите верьте, хотите нет – воцаряется тишина. И тут вдруг, совершенно неожиданно – ведь утренний визит состоялся, как обычно, словно ничего вокруг не происходит, – в палату вошел врач. Однако сейчас он не так высокомерен, не так подтянут, как раньше: лицо помято, халат, вовсе не безупречный, покрыт какими-то ржавыми пятнами; он окидывает палату тяжелым взглядом налитых кровью глаз: по всей видимости, ищет свободную койку, никаких сомнений. «Wo ist der, – говорит он Петьке, – der, mit dieser

kleinen Wunde hier?!»[71]– И делает неопределенный жест возле своего бедра,

в то время как испытующий взгляд его на какое-то мгновение останавливается поочередно на лицах больных, в том числе и на моем лице, и я очень сомневаюсь, что он меня не узнал, хотя он тут же отводит глаза и снова смотрит на Петьку, ожидая, торопя, требуя, как бы перекладывая на него бремя ответа. Я не произношу ни звука, но про себя уже готовлюсь вскочить, надеть полосатую робу и идти, идти куда-то, в самую гущу той сумятицы, что царит в лагере; и тут я с изумлением вижу, что Петька – по край-

ней мере, это написано у него на лице – понятия не имеет, кого же это имеет в виду господин врач; потом, после короткой растерянности, лицо у него вдруг светлеет, словно на него снизошло озарение; он произносит: «Ach... ja!» – и вытягивает руку в сторону парня с огнестрельным ранением; и врач сразу соглашается с ним, на лице у него тоже отражается что-то вроде просветления, словно он рад, что, да-да, Петька угадал его самую большую заботу и у него просто гора с плеч

свалилась, ей-богу. «Der geht sofort nach Hause»[72], – тут же отдает распоряжение врач; и тогда на моих глазах происходит нечто очень странное, необычное, даже, я бы сказал, неприличное, подобного чему я до сего дня не видел в нашей палате и на что смотрю, едва удерживаясь от краски стыда. Дело в том, что парень с огнестрельным ранением, поднявшись с койки и встав перед врачом, сначала складывает ладони, словно собираясь молиться, затем,

после того как тот, на мгновение потеряв самообладание, ошеломленно отступает на шаг, падает на колени и обеими руками обхватывает ноги врача; потом я уловил лишь быстрый взмах руки доктора и громкий звук пощечины, увидел лишь возмущение у него на лице, но слов его, перед тем как он коленом оттолкнул с дороги препятствие и с перекошенным, даже более красным, чем обычно, лицом выскочил из палаты, – слов его я уже не смог разобрать. Опустевшую койку вскоре занял новый больной, опять же молодой парень; хорошо знакомая мне плотная повязка свидетельствовала о том, что на ноге у него уже нет ни одного пальца. Когда Петька потом проходил мимо меня, я произнес, почти шепотом, как бы по секрету: «Дзенькуе, Петька!» Но по его недоуменному «Was?...», по тому, как на мое «Aber früher, vorher...» – то есть «Ну, только что, перед этим...» – лицо его выразило лишь полнейшее непонимание, да он еще и головой затряс, чтобы подтвердить это, – тут я сообразил, что на сей раз, видимо, я совершил что-то неприличное и что есть вещи, с которыми, выходит, мы должны разбираться исключительно сами, внутри себя, так получается. Ну что ж, тут, во-первых, все было по справедливости, – таково, во всяком случае, было мое мнение: ведь, в конце концов, я в палате куда дольше, чем тот, с огнестрельной раной; потом, он и поздоровее, чем я, и, конечно же, там, вне стен госпиталя, у него куда больше шансов уцелеть; ну а кроме того, мне, видимо, легче смириться с чужим несчастьем, чем со своим, вот такой вывод я не мог не сделать, такой урок не мог не извлечь, как ни смотри, как ни взвешивай, с какой стороны к вопросу ни подходи. Самое главное было другое: об этом ли думать, когда вокруг стреляют? И двумя днями позже уже у нас в палате звякнуло стекло и шаль-

ная пуля вонзилась в противоположную стену. В тот день случилось еще одно событие; перед этим в палату входили, чтобы торопливо перекинуться с Петькой парой слов, какие-то подозрительные люди, да и сам Петька то и дело куда-то пропадал, иногда довольно надолго, а вечером вернулся в палату с продолговатым предметом, или, точнее, свертком. Я было принял его за скатанную простыню... но нет, вряд ли, потому что там было еще и древко, – так что это, скорее всего, был, пожалуй, белый флаг; а еще из свертка, из самой середины его, выглядывало нечто такое, чего я до этого дня никогда еще не видел в руках у заключенного, нечто такое, от чего вся палата зашевелилась, тихо ахнула, глухо загудела; этот предмет, прежде чем спрятать его под свою койку, Петька развернул и позволил увидеть всем, подняв к груди с такой улыбкой, которая напомнила мне дом и прежние времена, когда мне показывали, вытащив из-под елки, предназначенный мне, особо ценный рождественский подарок: в руках у Петьки была короткая, синевато поблескивающая металлическая трубка, укрепленная на гладком куске темного дерева; да это же обрез, вспомнилось мне слово, которое я встречал когда-то в своих любимых книгах про сыщиков и разбойников.

Следующие дни тоже были богаты всякими событиями, но разве ж упомнишь каждый отдельный день и все, что происходило? Во всяком случае, могу твердо сказать: кухня все это время работала четко, да и врач был по-прежнему точен. А однажды утром, вскоре после кофе, из коридора донесся торопливый топот, громкий возглас – как бы команда или сигнал, – услышав который Петька поспешно достал из тайника свой сверток и убежал с ним куда-то. Потом, часов около девяти, я еще раз услышал из коробки репродуктора распоряжение,

относившееся на сей раз не к заключенным, а к охране: «An alle SS-Angehorigen, – прозвучало дважды подряд. – Das Lager sofort zu verlassen!»[73] – то есть им приказывали без промедления убраться из лагеря. После этого какое-то время доносился, то приближаясь, то удаляясь, иногда гремя словно бы над самой моей головой, потом постепенно затихая, шум боя; наконец наступила тишина, тишина, пожалуй, даже слишком глубокая, и напрасно я ждал, вслушивался, надеялся: ни в обычное время, ни позже я не улавливал – хотя время уже давно прошло – знакомого погромыхания, знакомых выкриков, означавших, что близятся котлы с баландой. Кажется, было часа четыре пополудни, когда в коробке репродуктора вдруг раздался щелчок, потом шипение, треск, и репродуктор сообщил, что к нам обращается Lageraltester. «Kameraden! – начал он, и слышно было, что он борется с

каким-то, перехватывающим ему горло чувством, отчего голос его то прерывался, то звучал слишком резко, почти пронзительно. – Wir sind frei!» – то есть: мы свободны; и я подумал: выходит, староста лагеря тоже разделяет то, что чувствуют Петька, Богуш, врач и другие, им подобные, дудит, должно быть, с ними, если можно так выразиться, в одну дуду, раз уж он сам объявил эту новость, причем с явной радостью. После этого Lageraltester произнес коротенькую, но содержательную речь, за ним последовали другие, говорившие

на самых разных языках. «Атансьон, атансьон!»[74] – слышал я, например, обращение к французам. «Пузор! Пузор!» – это, насколько я знаю, по-чешски. «Внимание, внимание, русские товарищи, внимание!» – и певучая интонация вдруг вызвала у меня в памяти приятное воспоминание о языке, на котором говорили вокруг меня, в тот день, когда я сюда прибыл, люди из банной

бригады. «Увага, увага!»[75] – раздалось из репродуктора, и поляк, лежавший на соседней койке, возбужденно сел и зашикал на нас: «Чиха бондж! Тераз

польски коммунисты!»[76] И я только тогда вспомнил, как он нервничал, суетился, не находил себе места сегодня с самого утра. Тут, к моему изумлению, по радио вдруг зазвучало: «Внимание, внимание! Венгерский лагерный комитет...» – и я подумал: смотри-ка, а я и понятия не имел, что

такой существует. Но тщетно я вслушивался: венгры, как и все другие перед ними, говорили лишь о свободе и не было ни словечка, ни намек о том, где долгожданная баланда. Я тоже, вполне естественно, был ужасно рад, что мы свободны; но что мог я поделать, если, с другой стороны, мне никак не удавалось не думать, что вчера, например, такого, чтобы нам не дали есть, и представить себе нельзя было. Апрельские сумерки за окном уступили место темноте; уже и Петька вернулся, покрасневшийся, возбужденный, переполненный сотнями непонятных слов, – когда в репродукторе наконец вновь зазвучал голос старосты лагеря. На этот раз он обратился к

членам Kartoffelschalerkommando[77], прося их быть столь любезными и занять свое место на кухне, а всех прочих обитателей лагеря призывая не ложиться спать хотя бы до полуночи, поскольку для них уже готовят наваристый суп– гуляш. Тут только я с облегчением откинулся на подушку, тут только меня постепенно отпустило напряжение, и я подумал – кажется, впервые подумал серьезно – о том, что я свободен.

Домой я приехал примерно в такое же время, в какое уехал. Во всяком случае, леса вокруг Бухенвальда давно уже были зелеными, ямы с закопанными в них трупами покрылись свежей травой, асфальт заброшенного с наступлением

новых времен апельплаца, замусоренный всяким тряпьем, обрывками бумаги, консервными банками, чернеющий пятнами кострищ, уже таял от летнего зноя, когда и меня спросили: есть ли у меня желание пускаться в дорогу? Собиралась в основном молодежь, руководить ею должен был приземистый человек в очках, с седеющей шевелюрой, один из привилегированных заключенных, член венгерского лагерного комитета: он должен был улаживать в пути наши дела. Сейчас как раз есть грузовик, ну и американцы вроде согласны немного подбросить нас на восток, а остальное уже – наше дело, сказал он и попросил, чтобы мы звали его дядей Миклошем. Жизнь, добавил он, должна идти своим чередом; и в самом деле, другого нам ничего не остается, подумал я, уж коли так складывается, что мы вообще можем принять такое решение. Себя я тоже уже мог считать в общем и целом поправившимся, если, конечно, не обращать внимания на кое–какие странные вещи, небольшие ненормальности. Скажем, если я прижимал палец к какой-нибудь точке на теле, на коже долго сохранялась ямка от пальца, словно это была не кожа, а какой-то мертвый, лишенный упругости материал – скажем, сыр или воск. Лицо мое тоже немного меня удивило, когда я, попав в бывший эсэсовский госпиталь, в одну из уютных палат с зеркалом на стене, посмотрел на себя: с прежних времен мне помнилось совсем другое лицо. На том, что я рассматривал сейчас в зеркале, бросался в глаза удивительно низкий лоб под щеткой волос, отросших уже сантиметра на два; на странно широких, голых затылках над ушами – откуда-то появившиеся бесформенные вздутия; в других местах – дряблые складки, мешки, которые в целом должны были производить – по крайней мере, так мне помнится по прочитанным некогда книжкам – впечатление пресыщенности порочными наслаждениями и удовольствиями, ведущими, как известно, к преждевременной старости; видя свои заметно уменьшившиеся глаза, я вспоминал, что когда-то и у них был другой, более дружелюбный, я бы сказал, более внушающий доверие взгляд. Ну и, кроме того, я прихрамывал, немного приволакивая правую ногу. «Брось горевать, – утешал меня дядя Миклош, – домашний воздух все вылечит. Дома, – заявлял он, – мы будем строить новую родину». И, для начала, обучил нас паре

новых песен. Шагая пешком – а на протяжении пути это случилось не раз – через деревни и города, мы, построившись по-военному в шеренги по трое, затягивали эти песни. Сам я особенно любил – даже не знаю почему – ту, что начиналась словами «Возле Мадрида неба не видно». С удовольствием я пел и другую песню, особенно один ее куплет, где говорилось: «Весь день мы спины горбим/в унынии и скорби,/Но тянутся к оружию наши руки, что силою полны!» Опять же по-другому, но нравилась мне и песня, где была строчка: «Мы мо-лода-я гвар-ди-я рабо-о-чих и кре-стьян», после которой, не обращая внимания на мелодию, надо было выкрикивать: «Рот Фронт!» После каждого такого выкрика я замечал, как где-нибудь поблизости захлопывалось окно или закрывалась дверь, а еще замечал фигуру шмыгающего в подворотню или куда-нибудь за угол человека, наверное немца.

Вообще же в дорогу я отправился с небольшим багажом, который весь уместился в несколько неудобном – во-первых, слишком узком, во-вторых, лишком длинном – американском вещевом мешке: туда я запихнул два толстых одеяла, смену белья, серый, хорошей вязки, с зелеными полосками на запястьях и на шее пуловер, который я подобрал на брошенном эсэсовском складе, ну и кое-какие припасы: консервы, что-то еще. Сам я был одет в зеленые холщовые штаны, какие носят в американской армии, на ногах – прочные ботинки на резиновой подошве и со шнуровкой, над ними – краги из вечной на вид кожи, с полагающимися к ним ремнями и пряжками. На голову я где-то нашел странной формы и для теплого времени года тяжеловатую фуражку, ребра и углы которой образовывали сверху слегка сплюснутый по диагонали квадрат, или, как вспоминалось мне из канувших в прошлое школьных времен, геометрическую фигуру под названием ромб; должно быть, до меня ее носил, как мне сказали, польский офицер. Наверное, на складах можно было разжиться и более или менее добротной курткой или пальто, но я в конце концов удовлетворился привычной, старой полосатой робой, только что без нашитого треугольника и без номера; можно даже сказать, я выбрал ее сознательно: так, по крайней мере, будет меньше недоумений, рассуждал я про себя, да и вообще предмет это был очень даже приятный, практичный, прохладный – во всяком случае, сейчас, летом. Передвигались мы на грузовиках, на телегах, пешком или на общественном транспорте – в зависимости от того, что нам могли предоставить различные армии. Спали на соломе в задке воловьей повозки, на партах и кафедре в пустом школьном классе – или просто на земле, под звездным летним небом, на грядках в саду, на газоне между аккуратными, пряничными крестьянскими домиками. Даже плыли некоторое время

на пароходике по неширокой – по крайней мере, для моих, привыкших к Дунаю глаз – реке, называвшейся, как я узнал, Эльбой; а однажды мы оказались в странном месте

– бывшем городе, по всей видимости, который теперь представлял собой лишь груды камня да торчащие кое-где черные стены. Под этими стенами, под остатками взорванных мостов жили, гнездились, спали местные жители; я пытался, само собой, радоваться свободе, вот только не мог не чувствовать: именно эти люди мне и мешают чувствовать радость. Я катался на красном трамвае и путешествовал на настоящем поезде, состоявшем из настоящих вагонов с настоящими, предназначенными для людей купе, – правда, нас в эти поезда пускали разве что на крышу. Наконец мы приехали в город, где, вместе с чешской, можно было слышать уже и венгерскую речь; пока мы ждали поезда, на который должны были пересесть, на станции вокруг нас собрались женщины, старики, мужчины, самые разные люди. Не из концентрационного ли лагеря мы возвращаемся, спрашивали они, и у многих из нас – в том числе и у меня – пытались узнать, не встречали ли мы случайно их близких, не сталкивались ли с таким-то и таким-то. Я отвечал, что в концлагере у людей нет имен. Они пробовали описать внешность, лицо, цвет волос, какие-то характерные черты, и я опять же объяснял: напрасно все это, в концлагере человек обычно очень сильно меняется. Тогда люди постепенно разошлись по домам; не ушел лишь один, одетый совсем по-летнему, в брюки и рубашку; большие пальцы обеих рук он засунул за пояс, возле подтяжек, остальные же пальцы, оставшиеся снаружи, шевелились, похлопывали по сукну. Этот поинтересовался, видел ли я газовые камеры; я даже слегка улыбнулся, услышав это. И ответил ему: «Тогда бы мы сейчас с вами не разговаривали». Ага, сказал он; но они в самом деле там были, газовые камеры? И я опять же сказал ему, мол, а как же, были, среди прочего, и газовые камеры, само собой; все от того зависит, добавил я, в каком лагере как заведено. В Освенциме, например, их очень даже следует иметь в виду. «А я, – заметил я, – еду из Бухенвальда». – «Откуда-откуда?»

– переспросил он, и мне пришлось повторить: «Из Бухенвальда». – «Значит, из Бухенвальда?» – кивнул он; и я еще раз сказал: «Оттуда». На что он сказал: «Постойте-ка, постойте. – Лицо у него было жестким и строгим, а выражение – таким, будто он меня собирался отчитывать. – Итак, вы...» Уж не знаю почему, но этот его серьезный, я бы даже сказал, несколько церемонный тон меня как-то даже обескуражил. «Итак, вы слышали о газовых камерах...» Тут я опять ответил: мол, а как же, конечно. «Но при всем том, – продолжал он с тем же неподвижным лицом, которое как

бы подчеркивало, что он наводит порядок, вносит ясность в хаос, – при всем том вы лично, собственными глазами, ни разу в этом не имели возможности убедиться». Я не мог не признать: ну да, возможности, слава Богу, не имел. На что он коротко заметил: «Ага, вот как»,

– и, кивнув, неторопливо и важно пошел прочь, с прямой спиной и, как мне показалось, довольным выражением на лице – если, конечно, я не ошибся. Скоро нас крикнули: бегом, поезд пришел, – и мне даже удалось найти себе вполне терпимое место на широкой деревянной ступени лестницы. Где-то утром я проснулся; поезд весело пыхтел, перестукивая колесами по стыкам рельсов. Позже я обнаружил, что названия населенных пунктов, проплывающих мимо, всюду написаны уже по-венгерски. А вон там, видишь, блестит, показали мне в сторону, где было что-то, что слепило глаза, – это Дунай; и земля тут, вокруг, сказали мне, обведя пространство, которое дрожало и словно плавилось в неистовом утреннем свете, – это все венгерская земля. Спустия какое-то время поезд остановился под закопченной, в сплошных дырах, сводчатой стеклянной крышей; в стенах зияли выбитые окна; Западный вокзал, говорили вокруг, и это в самом деле был он, я его в общем узнал.

На площади перед вокзалом летнее солнце заливало светом тротуар. Было жарко, пыльно, шумно, вокруг теснилась толпа, гудел и рычал транспорт. Проходившие трамваи были желтого цвета, впереди на них стояла шестерка: значит, это тоже не изменилось. Сновали торговцы с какими-то странными печеными пирожками, с газетами, со всякой всячиной. Люди мне казались очень красивыми, и, как можно было понять, у всех было какое-нибудь неотложное дело, важное занятие: все спешили, неслись, толкаясь, бежали куда-то в разных направлениях. Нам, как я узнал, тоже надо было как можно скорее добраться до пункта помощи, там сообщить свои имена, чтобы первым делом обзавестись деньгами и документами – вещами, без которых нам теперь уже в жизни не обойтись. Пункт помощи, как нам сказали, находится в окрестностях другого вокзала, Восточного; на первом же углу мы сели в трамвай. Улицы показались мне довольно запущенными, ряды домов кое-где были щербатыми, уцелевшие здания пестрели пробоинами, пустыми проемами окон, но трамвайный маршрут выглядел все же примерно знакомым; узнал я и площадь, где мы через некоторое время высадились. Пункт помощи мы отыскали напротив еще сохранившегося в моей памяти кинотеатра, в большом, сером, уродливом административном здании; двор, вестибюль, коридоры в нем были заполнены людьми. Они сидели, стояли, сновали туда-сюда, шумели, болтали или

молчали. Многие были в пестрой, причудливой одежде, добытой на оставшихся без охраны складах, в униформе и головных уборах различных армий, другие – как, например, и я – в полосатых лагерных робах, третьи уже успели принарядиться в белые рубашки, нацепить галстуки; заложив руки за спину, они опять обсуждали важные дела, степенно, с достоинством, как обсуждали до отправления в Освенцим. В одной группе вспоминали и сравнивали условия в разных лагерях, в другой гадали, какой будет сумма причитающейся им компенсации, виды и размер помощи, третьи делились мыслями о том, что в рассмотрении дел слишком много неоправданных проволочек, одни получают привилегии за счет других, вокруг сплошная несправедливость; в одном лишь вопросе все сходились: надо ждать, и ждать, по всей очевидности, долго. Вот только мне от всего этого стало ужасно скучно, и я, потоптавшись немного, вскинул свой мешок на плечо и спустился обратно во двор, а оттуда двинулся к воротам. Там я снова увидел кинотеатр, и мне пришло в голову, что, если пойти направо и пересечь один, ну, может, два перекрестка, я окажусь – если память мне не изменяет – на улице Незабудка.

Дом я нашел легко: он уцелел; и еще я увидел, что он ничем не отличается

– так, во всяком случае, мне показалось – от других, желтых или серых, несколько обветшавших домов. Войдя в прохладную подворотню, я нашел старый, с загнутыми уголками список жильцов и, изучив его, узнал, что номер квартиры тоже совпадает: мне нужно было подняться аж на третий этаж. Я не спеша брел вверх по старой, с кислым запахом лестнице; из окон на площадках видна была круговая галерея, внизу – чистый, унылый внутренний двор, с клочком газона в середине, несколько грустных, хилых деревьев с пыльными кронами. Напротив из квартиры вышла женщина с повязанной платком головой и, стоя у перил, принялась энергично вытряхивать тряпку, которой, видимо, вытирала пыль; откуда-то доносилась музыка, передаваемая по радио, ревел во все горло ребенок. Когда я нажал кнопку звонка и дверь открылась, я даже отпрянул: на меня смотрели спустя столько времени маленькие, чуть раскосые глаза Банди Цитрома, смотрели, правда, с лица довольно еще молодой, черноволосой, коренастой и совсем невысокой женщины. Она тоже отпрянула – наверно, из-за моей робы, решил я; чтобы она не захлопнула дверь у меня перед носом, я поспешил спросить: «А Банди Цитром дома?» – «Нету», – ответила она. Я спросил: сейчас, в этот момент нету – или вообще? Она, потрянув головой и прикрыв веки, сказала: «Вообще». И лишь когда она снова открыла глаза, я заметил, что на нижних веках у нее блестит влага. Губы у нее задрожали,

и я подумал уже, что лучше всего мне поскорее обратиться восвояси, – но тут из сумрака прихожей вдруг показалась худая пожилая женщина с платком на голове, в темном платье, и мне пришлось повторить: «Я к Банди Цитрому», на что она тоже сказала: «Нету его дома». Однако отпустить меня так просто она не захотела. «Заходите как-нибудь потом. Через пару дней, может». И я заметил, что молодая женщина, услышав это, с каким-то странным, протестующим видом повернула голову в ее сторону и в то же время подняла ко рту тыльную сторону ладони, будто желая удержать, подавить какое-то слово, готовое сорваться с губ. Мне нужно было что-то добавить, объяснить им свой приход. «Мы вместе там были, – сказал я. – В Цейце». И на ее строго, почти требовательно прозвучавший вопрос: «А почему же вы домой не вернулись вместе?» – мне пришлось почти оправдываться: «Потеряли мы друг друга. Я в другое место попал». Она хотела узнать, были ли там еще венгры. Я ответил: «Конечно. Много». После чего она, с видимым торжеством, повернулась к молодой женщине: «Видишь!» А мне сказала: «Я все время говорю, они только теперь возвращаться начинают. А у дочери терпения не хватает, она не верит уже». И тут я чуть не сказал – но все-таки удержался и промолчал, – что, на мой взгляд, дочь поступает более разумно: видно, лучше знает Банди Цитрома. Потом мать спохватилась и стала приглашать меня войти, но я отказался: мне бы сначала домой попасть. «Родители наверняка ждут», – сказала она; и я ответил: «Конечно». «Ну, тогда, – добавила она, – ступай живей, пускай порадуются». С тем я и ушел.

Придя к вокзалу, я сел на трамвай: очень давали о себе знать ноги, к тому же как раз подъехал знакомый номер, один из тех, которые я помнил с прежних времен. На открытой площадке стояла сухопарая старуха в странном, старомодном кружевном воротнике; она отодвинулась немного в сторону. Скоро появился человек в форменной куртке и фуражке и потребовал предъявить билет. Я сказал: нету у меня билета. «Тогда покупайте», – предложил он. Я сказал, что приехал издалека, у меня и денег нет. Он посмотрел на меня, на мою робу, заодно посмотрел на старуху, потом стал объяснять мне, что в городском транспорте есть свои правила, придуманы они не им, а людьми, стоящими куда выше. «Если вы не покупаете билет, то должны сойти», – подвел он итог. «Но ведь у меня нога болит, – сказал я ему и заметил, что старуха отвернулась и стала смотреть на проплывающую мимо местность, причем с таким оскорбленным видом, будто это я ее упрекнул в чем-то, не знаю в чем. Но в этот момент из вагона, в открытую дверь, размахивая руками и крича, выскочил крупный человек с черной растрепанной шевелюрой. На нем был светлый по-

лотняный костюм, рубашка, расстегнутая сверху, с плеча свисала на ремне какая-то черная коробка, в руке он сжимал портфель. «Это что еще такое? – грозно глянул он на кондуктора, потом подал, едва не ткнув того в живот, монету. – Дайте билет!» Я попытался поблагодарить его, но он, сердито озираясь, прервал меня: «Кое-кому стыдно должно быть!» Но проводник уже ушел в вагон, старуха же по-прежнему смотрела в сторону. Тогда он повернулся ко мне, и лицо его стало мягче. «Ты из Германии едешь, сынок?» – спросил он. «Да». – «Из концлагеря?» – «Само собой». – «Из которого же?» – «Из Бухенвальда». Да-да, он о таком слышал, знает, это тоже «один из кругов нацистского ада» – так он выразился. «Откуда же тебя забрали?» – «Из Будапешта». – «И сколько времени ты там провел?» – «Год, в общем». – «Много ты повидал, должно быть, сынок, много всяких ужасов», – сказал он; я ничего не ответил. «Ну ничего,

– продолжал он, – главное, все кончилось, все позади». С посветлевшим лицом показав на дома, между которыми мы как раз громыхали, он поинтересовался: что я чувствую сейчас, вернувшись домой и увидев город, из которого пришлось уехать? «Ненависть», – ответил я. Он умолк, но вскоре высказал замечание, что, к сожалению, может понять мои чувства. Вообще-то, по его мнению, «в данной ситуации» и у ненависти есть свое место, своя роль, «даже своя польза»; и добавил: он прекрасно знает, кого именно я ненавижу. «Всех»,

– сказал я. Он опять замолчал; теперь его молчание длилось дольше, чем в первый раз; потом он заговорил снова: «Много ужасов тебе пришлось пережить?» Я ответил: зависит от того, что считать ужасами. «Думаю, тебе, – сказал он, – наверняка много приходилось нуждаться, голодать, и тебя, очевидно, били». – «Само собой», – сказал я. «Ну почему, сынок, – воскликнул он, и я видел, что он уже теряет терпение, – почему ты на все отвечаешь «само собой»? Разве же все это разумеется «само собой»!» Я сказал: в концлагере – да, там разумеется. «Ну хорошо, там – да, но... – тут он запнулся и, немного поколебавшись, продолжал: – Но ведь... ведь сам концлагерь – это же не само собой разумеется!» – как бы нашел он наконец нужное слово; я ничего ему не ответил, поскольку постепенно стал понимать: о некоторых вещах, видимо, нет смысла спорить с посторонними людьми: они просто не в курсе дела, они ничего не знают, они в известном смысле как дети, если можно так выразиться. И вообще, спохватился я, увидев перед собой прежнюю, разве что немного еще более пустынную и запущенную площадь, мне было пора сходить, и я об этом ему сказал. Но он слез вместе со мной и, показав на стоявшую в тени скамью со сломанной спинкой, предложил присесть на ми-

нутку.

Сначала он выглядел несколько растерянным, не зная, с чего начать. На самом деле, заметил он, только сейчас начинают «по-настоящему открываться кошмары», и добавил, что «весь мир пока в недоумении стоит перед вопросом: как, каким образом все это вообще могло произойти». Я молчал, и тогда он, повернувшись ко мне и глядя мне в глаза, вдруг сказал: «Сынок, ты не хотел бы поделиться тем, что видел и пережил?» Я слегка удивился и ответил, что едва ли смогу рассказать ему что-нибудь уж интересное. Он улыбнулся и сказал: «Не мне. Миру». Я удивился еще сильнее и спросил его: «А... о чем?»

– «О лагерном аде», – ответил он, на что я возразил, что об этом сказать вообще ничего не могу, поскольку ада не знаю и даже представления о нем не имею. Тогда он стал объяснять, что это всего лишь такое сравнение. «Не адом ли, – спросил он, – следует представлять концентрационный лагерь?» Я, чертя в пыли круги каблуком ботинка, ответил, что каждый может представлять это, как ему хочется и как он умеет, а что касается меня, то я могу представить лишь концентрационный лагерь, поскольку лагерь я в какой-то степени знаю, ад же – нет. «А все-таки как бы ты представил ад?» – настаивал он, и я, начертив еще пару кругов, сказал: «Тогда я его представил бы таким местом, где не соскучишься. А в концлагере, даже в Освенциме, – добавил я, – могло быть и скучно – в определенных условиях, конечно». Он помолчал немного, потом спросил – уже как-то неохотно, как бы против своего желания, мне, по крайней мере, так показалось: «И чем ты это объясняешь?» Я, чуть поразмыслив, нашел нужное слово: «Временем». – «Как это: временем?» – «А так, что время помогает». – «Помогает?.. В чем?» – «Во всем». И я попытался ему объяснить, насколько это другое дело – прибыть, например, пусть не на такую уж роскошную, но в целом вполне приемлемую, чистую, аккуратную станцию, где лишь постепенно, со временем, ступень за ступенью тебе все становится ясным. Пока ты проходишь одну ступень, пока поймешь, что она позади, приходит следующая. Когда ты все узнаешь, то и поймешь все. А пока ты все понимаешь, в это время ты ведь не сидишь сложа руки: ты делаешь свое дело, живешь, действуешь, двигаешься, выполняешь каждое новое требование каждой новой ступени. Если бы не было этой очередности и все знания обрушивались на тебя, скажем, сразу, то, может, ни голова твоя, ни сердце этого бы не выдержали, – так я пытался хоть в какой-то мере объяснить, что к чему. На что он, нашарив в кармане истрепанную пачку сигарет, протянул пачку и мне, а когда я отказался, он, опершись локтями на колени, между двумя глубокими затылками, не глядя на меня, немного

странным, глухим голосом ответил: «Понимаю». – «С другой стороны, – продолжал я, – недостаток или даже, я бы сказал, беда в том, что время чем-то надо заполнять. Видел я, например, заключенных, – сказал я ему, – которые четыре, шесть, а то и целых двенадцать лет находились уже – вернее, не уже, а все еще – в концлагере. Ну так вот: люди эти все четыре, шесть или двенадцать лет, то есть, в последнем случае, двенадцать раз по триста шестьдесят пять дней, то есть двенадцать на триста шестьдесят пять и на двадцать четыре часа, то есть двенадцать на триста шестьдесят пять на двадцать четыре... ну, в общем, каждое мгновение, каждую минуту, каждый час, каждый день, с начала и до конца, пытались как-то провести – и не знали как. С третьей стороны, – продолжал я, – это как раз и помогало им, потому что, если бы все это время, умноженное на двенадцать, на триста шестьдесят пять, на двадцать четыре, на шестьдесят и еще раз на шестьдесят, обрушилось на них все сразу, одним махом, тогда они наверняка бы не выдержали, не устояли, сломались бы и телом, и умом; а так все-таки смогли устоять. – И поскольку он молчал, я добавил: – Вот так примерно это надо представить». Он же, точно так же, как раньше, только без сигареты, которую уже успел выбросить, зато стиснув обеими руками лицо и, наверное, поэтому еще более глухим, еще более сдавленным голосом произнес: «Нет, нельзя это представить». И я, со своей стороны, с ним согласился. И еще подумал: видно, поэтому люди и говорят вместо концлагеря – ад; наверняка.

Но вскоре он поднял голову, бросил взгляд на часы, и выражение его лица изменилось. Он сказал мне, что работает журналистом, причем, как он добавил, «в одном демократическом печатном издании»; и тут я понял, кого он мне отдаленно напоминает, особенно когда я слышу некоторые его слова: конечно же, дядю Вили – пускай, должен я признать, была между ними все же и немалая разница: в том, что говорил журналист, я слышал убежденность, даже, я бы сказал, одержимость, ту самую, которая отличала, например, слова раввина, а тем более его поступки, меру его упрямства, если сравнить их с поступками и упрямством, скажем, дяди Лайоша. Эта мысль заставила вдруг меня вспомнить о том, ясно осознать, что сейчас меня, впервые за долгое-долгое время, причем не в воображении, а совершенно реально, ждет скорое свидание с теми, с кем я год назад расстался; с этой минуты я слушал журналиста вполуха. Ему бы хотелось, сказал он, чтобы наша встреча стала не случайностью, а «счастливым случаем». И предложил: а что, если нам написать статью, даже «серию статей»? Писать будет он, но исключительно на основе того, что расскажу ему я. Так я мог бы заработать кое-какие деньги, кото-

рые наверняка пригодятся мне, помогут начать «новую жизнь»; правда, добавил он со смущенной улыбкой, как бы оправдываясь, очень много он «не может мне предложить», поскольку газета его еще молодая и «материальные ресурсы у нее пока ничтожны». Но в данный момент, считает он, даже не это самое важное: самое важное – «залечить еще кровоточащие раны и наказать виновных». Однако прежде всего «надо расшевелить общественное мнение», разогнать «апатию, равнодушие, более того: скепсис». Ведь от общих слов – никакого толку: необходимо, по его мнению, выявить истину, как бы «тяжко и больно» ни было для общества оказаться лицом к лицу с ней. В моих словах он видит «много свежего и оригинального», а в целом в них живет дух эпохи и (если я правильно его понял) ощущается некая «грустная печать» нашего времени, которая обеспечит «новую, неповторимую краску в утомительном потоке фактического материала» – так он выразился, а после этого спросил, что я на этот счет думаю. Я ответил, что мне бы первым делом надо уладить свои личные дела, но он, должно быть, меня неправильно понял – и сказал: «Нет. Это уже не только твое дело. Это – дело всех нас, дело всего мира». И тут я сказал: ладно, но сейчас мне пора домой; тогда он попросил, чтобы я на него «не сердился». Мы поднялись со скамьи, но он, по всему судя, еще колебался, еще что-то обдумывал. «А не начать ли нам, – спросил он, – наши статьи с фотографии, на память о встрече?» Я ничего не ответил, и тогда он, улыбнувшись углом рта, заметил, что «профессия журналиста иной раз толкает к бестактности»; но, если мне неприятно, он не хотел бы мне что-либо «навязывать». Потом он сел, раскрыл на колене у себя черную записную книжку, быстрым почерком написал что-то, вырвал листок и отдал его мне. Здесь его имя и адрес редакции, и он прощается со мной «в надежде на скорую встречу», сказал он, потом я ощутил дружелюбное пожатие его теплой, мясистой, слегка вспотевшей ладони. Разговор с ним и мне показался приятным, вовсе не утомительным, а сам он – симпатичным, доброжелательным человеком. Я подождал, пока фигура его затеряется среди прохожих, и лишь после этого выбросил его бумажку.

Пройдя несколько шагов, я увидел наш дом. Он был цел, невредим и выглядел в общем неплохо. В подворотне меня встретили прежние запахи, на лестничной клетке – ветхий лифт в решетчатой шахте и старая лестница с вытертыми желтыми ступенями, а выше я увидел и тот, памятный мне уголок площадки, где я пережил незабываемые мгновения. Я поднялся на второй этаж, позвонил в нашу дверь. Ее скоро открыли, но ровно настолько, насколько позволил внутренний засов с цепочкой; я даже уди-

вился немного, поскольку что-то не помнил, чтобы у нас была такая цепочка. В дверной щели появился кто-то чужой: на меня смотрело желтое, худое лицо женщины средних лет. Она спросила, кто мне нужен; я ответил, что живу здесь. «Нет, – сказала она, – здесь мы живем», – и попыталась закрыть дверь, но не смогла: я вставил в щель ногу. Я попробовал объяснить ей, что она ошибается, ведь именно отсюда я ушел в то давнее утро, и совершенно точно, что живем здесь мы; она же толковала мне, что это я ошибаюсь, поскольку нет никаких сомнений, живут тут они, и вежливо, даже любезно, но с сожалением трясла головой, норовя закрыть дверь, в то время как я старался помешать ей в этом. В какой-то момент, когда я поднял глаза, посмотреть, не ошибся ли я в самом деле номером, и, видимо, на секунду забыл о ноге, – ее старания увенчались успехом, и я услышал, как она дважды повернула ключ в замке захлопнувшейся двери.

Я пошел назад, к лестнице, и тут увидел знакомую дверь, которая заставила меня остановиться. Я позвонил; вскоре в дверном проеме обозначилась крупная, расплывшаяся фигура женщины. Она тоже хотела было сразу закрыть дверь – я уже не удивился бы этому, – но тут за ее спиной блеснули очки, и в полутьме бледным пятном проступило бледное лицо дяди Флейшмана. А рядом с ним возникли шлепанцы, объемистый живот, большая рыжая голова с детским пробором и погасшая изжеванная сигара – это был дядя Штейнер, точь-в-точь такой, каким я его видел вечером накануне таможни, как будто лишь вчера. Они стояли, смотрели на меня, потом, почти одновременно, произнесли мое имя, а старик Штейнер даже обнял меня, прямо так, как я был, в фуражке и пропотевшей полосатой робе. Они повели меня с собой в комнату, а тетя Флейшман побежала в кухню, поискать, не найдется ли мне что-нибудь «перекусить с дороги», как она сказала. Мне пришлось отвечать на обычные в такой ситуации вопросы: откуда, как, когда, где; потом я тоже задал несколько вопросов – и узнал, что в нашей квартире действительно живут другие. «А как теперь мы?» – спросил я – и, поскольку они с трудом подыскивали, что ответить, добавил: «Как отец?» – и тут они совсем замолчали. Спустя какое-то время чья-то рука – думаю, дяди Штейнера, кажется, – медленно поднялась, двинулась в мою сторону и, словно старая, осторожная летучая мышь, опустилась на мой локоть. Из того, что они мне рассказали, я, в сущности, уловил лишь, что «в достоверности печальной вести сомневаться, увы, никаких оснований нет», поскольку она «опирается на свидетельства бывших соратников»: они сообщили, что отец мой «скончался после недолгой болезни» в «одном германском лагере», который, правда, находится, собственно говоря, на австрийской территории, ну...

как бишь его. .. ммм; «Маутхаузен», – подсказал я, и они обрадованно закивали: «Да-да, точно, Маутхаузен», – потом опять помрачнели. Затем я спросил, известно ли им что-нибудь о матери, и они сразу ответили: а как же, известно, с ней все в порядке, она жива-здорова, пару месяцев назад заходила сюда, они ее сами видели, разговаривали с ней, она про меня спрашивала. «А мачеха?» – поинтересовался я – и услышал в ответ: «Ну, она тут уже замуж успела выйти!..» – «Ну да? – удивился я. – И за кого же?» Имя они опять затруднились вспомнить. Один сказал: «Вроде за какого-то Ковача». Второй с ним не согласился: «Да нет, не Ковач он. Скорее – Футо». – «Шютё», – сказал я, и они опять радостно закивали: «Да, да, конечно, Шютё», – точно как перед этим. Она ему многим обязана, «собственно говоря, всем», стали они объяснять мне, ведь это он «спас состояние», он «прятал ее в трудные времена» – так они выразились. «Пожалуй, – задумался дядя Флейшман, – чуть-чуть все-таки поторопилась она с этим»; и против этого даже дядя Штейнер ничего не возразил. «Однако, в конце концов, – добавил дядя Штейнер, – понять ее можно»; и тут уж дядя Флейшман с ним согласился.

Я еще посидел с ними какое-то время: очень давно я не сидел вот так, в мягком кресле с бархатной бордовой обивкой. Из кухни пришла тетя Флейшман, принесла на белом фарфоровом блюде с цветной каемкой хлеб, смазанный жиром, посыпанный красным перцем и тонкими кружочками репчатого лука: о, она помнит, раньше я очень любил такие бутерброды, я же с готовностью подтвердил, что в этом смысле ничего не изменилось. Пока я ел, старики, Штейнер и Флейшман, поведали о том, как они жили; «да уж, чего там, дома тоже было нелегко». Из их рассказа вырисовывалось нечто смутное, бессвязное, лишенное всякой последовательности, какой-то клубок путаных событий, в которых я, в сущности, не очень-то мог разобраться. Лишь одно слово звучало очень часто, почти утомив меня своим беспрестанным повторением: с его помощью они вводили каждый новый поворот, каждое новое изменение: так,

например, «пришел» дом с желтой звездой, «пришло» пятнадцатое октября[78],

«пришли» нилашисты, «пришло» гетто, «пришла» набережная Дуная[79], «пришло» освобождение. Ну, и еще я заметил обычную ошибку: все эти размытые,

кажущиеся просто-таки непредставимыми и в подробностях, как я видел, даже для них самих уже не поддающимся полному восстановлению события словно протекали не в нормальном русле минут, часов, дней, недель и месяцев, а случались едва ли не все сразу и скопом, как бы в едином безумном смерче, или, ска-

жем, словно речь шла о некой странной вечеринке, которая вдруг, ни с того ни с сего, обернулась неистовой оргией, когда многочисленные участники, будто получив некий тайный импульс, внезапно теряют голову и в конце концов сами не ведают уже, что творят. В какой-то момент старики умолкли, потом Флейшман вдруг обратился ко мне с вопросом: «Ну, и что ты собираешься делать дальше, какие у тебя планы?» Я немного удивился и ответил: «Да я об этом вообще-то не думал еще». Тогда шевельнулся второй старик, наклоняясь ко мне. Летучая мышь опять поднялась в воздух, но опустилась уже не на локоть ко мне, а на колено. «Первым делом, – сказал он,

– ты должен забыть все эти ужасы». – «Почему?» – спросил я, удивившись еще сильнее. «А потому, – ответил он, – что иначе ты просто не сможешь жить.» Дядя Флейшман кивнул и добавил: «Жить свободно». На что дядя Штейнер тоже кивнул и, в свою очередь, тоже добавил: «Нельзя начинать новую жизнь с таким грузом». Тут он был в какой-то степени прав, я не мог этого не признать. Вот только я не совсем понимал, почему они хотят от меня невозможного, и я сказал: что случилось, то случилось, не могу же я, в конце концов, приказывать своей памяти. Новую жизнь, считал я, можно было бы начать, только если бы я родился заново или если бы мой разум постигла какая-нибудь болезнь, или увечье, или что-нибудь в этом роде, – надеюсь, они не желают мне ничего подобного? И вообще, добавил я, не заметил, чтобы там были какие-то ужасы, – и тут уже очень удивились, я увидел, они. Как это понимать, хотелось им знать, что значит «не заметил»? Но тогда и я спросил: а что они-то делали в те «трудные времена»? «Как что? Ну... мы жили», – задумался один. «Пытались выжить», – сказал другой. «То есть получается: вы тоже все время делали шаг за шагом», – заметил я. «Что значит: делали шаг за шагом?» – никак не могли уразуметь они, и тогда я рассказал им, как это было, например, в Освенциме. Один железнодорожный состав – не утверждаю, что всегда и обязательно, поскольку тут я не могу судить, – но, по крайней мере, в нашем случае вмещает примерно три тысячи человек. Скажем, мужчин из них – тысяча. Для осмотра кладем на одного человека одну-две секунды; чаще – одну, чем две. Самого первого и самого последнего в расчет не берем, поскольку они никогда не считаются. Но в середине, где стоял и я, ожидание, таким образом, составляет где-то десять—двадцать минут; за это время ты подходишь к точке, где решается: сразу ли газ, или пока что есть еще шансы. Ну, а очередь между тем движется, очередь все приближается, и каждый делает шаг, поменьше или побольше, в соответствии с требованием скорости действия.

Наступила недолгая тишина, которую нарушила лишь тетя Флейшман: она взяла у меня пустую тарелку и унесла ее; больше она не возвращалась.

А старики, Штейнер и Флейшман, спросили: при чем тут это и что я этим хочу сказать? Я ответил: да ничего особенного, просто не все сводится к тому, что что-то «приходит»: мы сами тоже делаем шаги. Это только теперь все видится законченным, готовым, непоправимым, окончательным, невероятно стремительным и ужасающе смутным, таким, каким «пришло»: оно выглядит таким только теперь, задним числом, если мы оглядываемся назад и видим его вроде как с изнанки. Ну и, конечно, если знаем судьбу наперед. Тогда и в самом деле можно принимать в расчет только течение времени. Какой-нибудь дурацкий поцелуй, например, это такая же необходимость, как, скажем, проведенный в бездеятельности день в таможене или газовые камеры. Вот только назад смотри или вперед – и то, и другое взгляд неправильный, рассуждал я. В конце концов, иной раз и двадцать минут, даже если их брать сами по себе, довольно большое время. Ведь каждая минута начинается, продолжается, потом заканчивается – прежде чем начнется следующая. «Так что, – сказал я, – давайте-ка подумаем: каждая такая минута могла бы, собственно, принести что-то новое. На самом деле – не принесла, само собой, но ведь все-таки нельзя не признать, что могла бы принести; в конечном счете в каждую такую минуту могло бы произойти и что-то другое, не то, что в действительности произошло: и в Освенциме, и точно так же, пускай, предположим, дома, когда мы прощались с отцом».

Эти мои последние слова как-то вдруг вывели старого Штейнера из неподвижности. «Но что мы могли сделать?» – спросил он, и лицо его было наполовину сердитым, наполовину жалобным. Я сказал: само собой, ничего; или

– добавил я – что угодно, и это было бы точно такой же бессмыслицей, как если бы вы ничего не делали, опять же скажу: само собой разумеется. «Но не об этом же речь, – пытался я продолжать, пытался объяснить им. «А тогда о чем, собственно?» – спросили они, почти уже теряя терпение; и я ответил, чувствуя, что сам начинаю злиться: «О шагах». Каждый делает шаг, пока в состоянии его делать; я тоже делал свои шаги, и не только в очереди в Биркенау, но и дома еще. Делал шаги по отношению к отцу, и по отношению к матери, и по отношению к Ан-намарии, и по отношению – это было, пожалуй, самое трудное из всего – к старшей из сестер, с которыми Аннамария меня познакомила. Теперь-то я уже сумел бы ей ответить, что это значит: «еврей». Ничего это не значит; во всяком случае, ничего – для меня с самого начала,

– пока ты не начал делать шаги. Неправда все это, нет другой человеческой крови, и ничего другого нет, есть только... Тут я запнулся в своих рассуждениях, но мне вовремя вспомнились слова журналиста: есть только данные ситуации и новые возможности, которые в них содержатся. Я тоже прожил некую, данную мне судьбу. Это была не моя судьба, но я прожил ее до конца, – и никак не мог понять, как это у них не вмещается в голову: теперь мне надо что-то делать с этой судьбой, куда-то, к чему-то ее приспособить; не могу же я, в конце концов, успокаивать себя тем, что, дескать, все, что было, ошибка, слепой случай, недоразумение; или сделать вид, будто вовсе и не было ничего. Я видел, хорошо видел, они не очень-то понимают меня, слова мои им не по вкусу, а некоторые даже раздражают. Я видел, дядя Штейнер иной раз готов перебить меня, в какие-то моменты готов вскочить и закричать, едва не лопаюсь от злости; и видел, как дядя Флейшман его удерживает, слышал, как он говорит ему: «Брось, ты не видишь, что ли, ему выговориться надо? Пускай говорит, не мешай». И я говорил, хотя и, возможно, напрасно, да и бессвязно немного. Но все равно я дал им понять: начать новую жизнь в принципе невозможно, можно только продолжить старую. Ведь это я делал шаги, не кто-то другой вместо меня; и потому я заявил, что судьбу, данную мне, я до конца прожил честно. Единственный промах, единственное, можно сказать, пятно на моей совести, единственная слабость, в которой, ладно, они могли бы меня упрекнуть, – то, что мы сейчас с ними об этом обо всем разговариваем, – но тут уж я не виноват. Так что же, они хотят, чтобы честность, с какой я прожил эту судьбу, и все мои предыдущие шаги, до единого, потеряли смысл? Откуда эта неожиданная, ни с того ни с сего, перемена отношения ко мне, эта неприязнь, почему они не хотят уяснить: если есть судьба, то невозможна свобода; если же – продолжал я, сам все более удивляясь себе, сам все более увлеченный ходом своей мысли, – если же есть свобода, то нет судьбы; то есть – тут я остановился, но лишь на мгновение, чтобы перевести дух, – то есть тогда мы сами – своя судьба, вдруг понял я, понял так ясно, как никогда прежде. Даже стало жаль, что мне противостоят лишь они, а не какие-нибудь более умные, более, так сказать, достойные противники. Но что делать, если они были тут, если они – в эту минуту, по крайней мере, мне так казалось – встречаются мне всюду; и ведь, во всяком случае, они были вместе с нами и в тот день, когда мы прощались с отцом. Они тоже сделали свои шаги. Они тоже знали, тоже видели все наперед, они тоже прощались с моим отцом так, словно мы уже его хоронили; а позже они ссорились только из-за вопроса о том, как мне добираться в Освенцим: трамваем или лучше автобусом. Но

тут уж не только дядя Штейнер, но и дядя Флейшман вскочил со стула. Правда, он все-таки и теперь пытался сдержаться, сгладить свое недовольство – но не мог ничего с собой сделать. «Как? – закричал он с покрасневшим лицом и ударил себя кулаком в грудь. – Может, это мы во всем виноваты, мы, жертвы?!» И я опять пробовал ему объяснить: не вина это, не в этом дело, надо лишь осознать, что именно произошло, осознать тихо, просто, без шума, лишь во благо разума, во благо чести, так сказать. Нельзя – пусть они попытаются понять, – нельзя отнять у меня все, нельзя добиваться, чтобы я не был ни победителем, ни побежденным, чтобы я был не прав, чтобы я даже не мог ошибаться, чтобы я не был ничему ни причиной, ни результатом; просто-напросто пусть попытаются понять, почти умолял я их: не могу я проглотить такую горькую пилюлю, что я всего лишь ни в чем не виновен. Но я видел, они ничего не хотят понимать; вскоре, взяв свой мешок и шапку, обменявшись с хозяевами несколькими необязательными словами, неопределенными жестами, я, не закончив очередной фразы, ушел.

Внизу меня встретила улица. К матери нужно было ехать на трамвае. Но тут мне вспомнилось: у меня же нет денег; и я решил пойти пешком. Чтобы собраться с силами, я ненадолго остановился на площади, у той самой скамьи. Впереди, в той стороне, куда мне предстояло идти и где улица, казалось, удлиняется, расширяется и теряется в бесконечности, барашки облаков над синеющими холмами становились лиловыми, а небо – пурпурным. Вокруг меня тоже что-то словно бы изменилось: уличное движение стало реже, шаги прохожих замедлились, голоса стали тише, взгляды смягчились, а лица как бы повернулись друг к другу. Это был тот неповторимый час – я узнал его даже сейчас, даже здесь, – самый любимый мой час в лагере, и меня охватило какое-то острое, болезненное и неутолимое чувство: ностальгия. Все вдруг сразу ожило, все было тут, со мной, все поднялось в груди, меня обуревали странные настроения, заставляли трепетать мелкие, но такие важные воспоминания. Да, в известном смысле жизнь там была чище и проще. Мне вспомнилось все-все, я всех оживил в своей памяти, и тех, кто не имел ко мне никакого отношения, и тех, само оправдание существования которых – только в том, что я их сейчас вспоминаю, что я стою здесь, возле дома, и думаю о них: и Банди Цитром, и Богуш, и врач, и все-все прочие. И сейчас я впервые думал о них с капелькой упрека, с какой-то беззлобной, ласковой обидой.

Но – не буду преувеличивать: ведь именно в этом и кроется суть, именно в этом загвоздка: я здесь, и я хорошо знаю, что приму любые доводы – как цену того, что я жив и могу жить дальше. Да,

когда я огляделся вокруг, как бы заново увидев эту мирную вечернюю площадь, эту побитую войной, усыпанную обломками и мусором, но все же полную тысячью обещаний улицу, я ощутил, как растет, как копится во мне готовность: я буду продолжать свою, не подлежащую продолжению, жизнь. Меня ждет мать, она наверняка мне обрадуется, бедняжка. Помню, когда-то она мечтала, чтобы я стал инженером, врачом или кем-нибудь в этом роде. Так оно наверняка и будет, я стану тем, кем она скажет; нет в мире такого, чего бы мы не пережили как нечто совершенно естественное; и на пути моем, я знаю, меня подстерегает, словно какая-то неизбежная западня, счастье. Ведь даже там, у подножия труб крематориев, было, в перерывах между муками, что-то похожее на счастье. Все спрашивают меня о трудностях, об «ужасах»; а мне больше всего запомнятся именно эти, счастливые переживания. Да, об этом, о счастье концлагерей, надо бы мне рассказать в следующий раз, когда меня спросят.

Если спросят. И если я сам этого не забуду.

Примечания

1

Птичье (журавлиное) перо на головном уборе – принадлежность униформы венгерских жандармов.

2

Лесное озеро (нем.).

3

Ты на идише говоришь? (идиш)

4

Нет (нем.).

5

Четырнадцать, пятнадцать (нем.).

6

Шестнадцать (идиш).

7

Почему (нем.).

8

Шестнадцать... понимаешь?.. шестнадцать!.. (идиш)

9

Не правда ли, господин офицер, мы скоро увидимся... (нем.)

10

Работать... Шестнадцать... (нем.)

11

Сколько тебе лет? (нем.)

12

Шестнадцать (нем.).

13

Вода не для питья (нем.).

14

Dorrgemüse – сушеные овощи (нем.).

15

Рабочий район на северной окраине Будапешта.

16

Разойдись! (нем.)

17

Значение слова «Бухенвальд» – буковый лес (нем.).

18

Wurst – колбаса (нем.).

19

Всем выйти! Живей! По пять человек в шеренгу – стройся! Пошевеливайтесь!(нем.)

20

Ungarn – Венгрия (нем.).

21

Да ты что, приятель, Господь с тобой! Здесь же все-таки не Освенцим! (нем.)

22

Добавка, довесок (нем.).

23

Первая строка баллады И.В.Гёте «Лесной царь». «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?» (перевод В. А. Жуковского).

24

Zigeuner – цыган (нем.).

25

Здесь: служба надзора за порядком в бараке (нем.).

26

«Внимание!», «Шапки – долой!», «Шапки – надеть!» (нем.)

27

Блок номер пять построен на поверку. Состав – двести пятьдесят человек, присутствует... (нем.)

28

Мункач – венгерское название города Мукачево в Закарпатской Украине. Шаторальяуйхей – город в Венгрии.

29

Ты на идише говоришь? (идиш)

30

Что там такое? (нем.)

31

Работать! Работать безо всяких! (нем.)

32

Поверка! Стройся! (нем.)

33

«Акционерное общество по добыче бензина из бурого угля» (нем.).

34

Рабочая бригада (нем.).

35

Поверка (нем.).

36

Старший рабочий (нем.).

37

Вечерняя и утренняя поверка (нем.).

38

«Двое в лазарете», «Пятеро в лазарете», «Тринадцать в лазарете» (нем.).

39

Рабочим бригадам построиться! (нем.)

40

Весь лагерь – внимание! (нем.)

41

Дозвольте в будку (нем.).

42

Я тебе покажу, дерьмо, паскуда, проклятая еврейская собака (нем.).

43

То есть: Oberarzt – старший врач (нем.).

44

Что? Ты еще жить хочешь? (нем.)

45

Понос (нем.).

46

Я не понимаю, месье (фр.).

47

Да, да. Хорошо, хорошо, сынок (фр.).

48

Хлеб (иск. венг.).

49

Пожалуйста! Готово! Пожалуйста! (нем.)

50

К тебе (нем.).

51

Санитар (нем.).

52

Искаженные венгерские фамилия и имя Kovcs Gyorgy, то есть Кёвеш Дёрдь.

53

Войска СС (нем.).

54

То есть (с искажением венгерских фамилии и имени): «Кёвеш... Что? Кёвеш Дёрдь!» (нем.)

55

Здесь: «Этого сегодня ко мне!» (нем.)

56

Этот сегодня отправляется домой! (нем.)

57

Давай, давай, подходи! (нем.)

58

А вы? (нем.)

59

О, я! Всего каких-то шесть лет (нем.).

60

Tscheche – чех (нем.).

61

Ты: ждать здесь. Я: уйти. Один момент назад. Понимать? (иск. нем.)

62

Так венгры неофициально называли Словакию, когда она вошла в состав Венгрии.

63

Домой (нем.).

64

Двоих или четверых труповозов... с одной или двумя парами носилок немедленно к воротам! (нем.)

65

Староста лагеря (нем.).

66

Крематорий, погасить немедленно! (нем.)

67

Бегать (нем.).

68

Да, да (польск.).

69

Староста лагеря! Всех построить! Староста лагеря! Где евреи?!
(нем.)

70

Староста лагеря! Построить весь лагерь! (нем.)

71

А где тот, с такой маленькой ранкой вот здесь? (нем.)

72

Этот немедленно отправляется домой! (нем.)

73

Всем служащим частей СС – немедленно покинуть лагерь!
(нем.)

74

Внимание, внимание! (фр.)

75

Внимание, внимание! (польск.)

76

Тихо вы! Теперь – польские коммунисты! (польск.)

77

Бригада чистильщиков картофеля (нем.).

78

Имеется в виду последняя попытка (15 октября 1944 г.) Хорти и его единомышленников выйти из войны, заключив сепаратный мир с антигитлеровской коалицией. Неудача этой попытки привела к тому, что к власти в Венгрии пришли нилашисты, партия венгерских фашистов, во главе с Салаши.

79

Зимой 1945 г. нилашисты на набережной Дуная расстреливали и сбрасывали в реку еще оставшихся в Будапеште евреев.